

“Блаженство” в русской лирике XVIII–XIX веков

© В. Б. СОРОКИН,
кандидат филологических наук

Слова *блаженство* и *блажен* – одни из ключевых в русской лирической поэзии XVIII–XIX веков. За свою долгую поэтическую жизнь они меняли оттенки значений в зависимости от контекста и пафоса стихотворений. Диапазон этих изменений поразительно широк – от благоговейного и возвышенного до иронического и горько-насмешливого. В этих словах, словно в капле воды, отражается мироощущение поэтов.

В христианской традиции понимание блаженства восходит к словам Нагорной Проповеди: “Блаженны нищие... блаженны плачущие... блаженны милостивые...”. Оно созвучно и начальной строке первого Псалма Давида: “Блажен, кто к злым в совет не ходит” (в переложении М.В. Ломоносова). Блаженство даруется тем, кто уклонился от соблазна и порока, претерпел лишения и за то будет вознагражден в Царствии Небесном.

Само представление о блаженстве, в отличие от счастья – сиюминутной удачи, мимолетной и обманчивой, которую можно “поймать”, но легко и “упустить” – отличается в ценностном отношении более высоким статусом, наполнено сакральным смыслом: блаженство нельзя “поймать”, оно должно быть обретено, ниспослано.

В русскую поэзию слово *блажен* пришло еще одним путем – через многочисленные переводы и переложения эпода Горация “*Beatus ille qui procul negotiis*”. Начиная с Н.Н. Поповского и вплоть до А.А. Фета, практически все русские поэты переводили эту строку, используя слово *блажен*: “Блажен тот, кто сует не знает” (Н.Н. Поповский). Этот мотив отозвался в произведениях В.К. Тредиаковского (“Строфы похвальные поселянскому житию”), С.В. Нарышкина: “О коль блажен тот, кто в долинах, / В полях, лугах овец пасет” (“Похвала пастушьей жизни”),

В.В. Капниста: “Блажен градским не сжатый кругом”, в знаменитом послании Г.Р. Державина “Евгению. Жизнь званская”: “Блажен, кто менее зависит от людей, / Свободен от долгов и от хлопот приказных”, а также у А.А. Дельвига: “Блажен, кто за рубеж, наследственных полей / Ногою не шагнет, мечтой не унесется” (“Тихая жизнь”) или “Блажен поэт / В своем родительском владенье!” (“Моя хижина”) и, наконец, у А.А. Фета в стихотворении “Сельский Альфий”: “Блажен, кто вдалеке от всех житейских зол, / Как род людской первоначальный...”.

Многие русские поэты принципиально меняли смысл горацевой оды, убирая последнюю саркастическую строфу, где автор сообщает, что хваленые речи сельской жизни произносит ростовщик Альфий, озабоченный только прибылью. Таким образом, искреннее восхваление сельского покоя стало в русской поэзии собственной традицией, получившей самостоятельное развитие.

Переплетение античных и христианских мотивов сформировало в русской поэзии первой половины XVIII века представление о блаженстве как о непритязательной, скромной и спокойной сельской жизни, свободной от суетных городских забот. На исходе столетия в отличие от А. Д. Кантемира, утверждавшего: “Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен”, Г.Р. Державин привнес в понимание блаженства эпикурейское жизнелюбие и радость хлебосольного пиршества в кругу родных и друзей.

Наряду с пасторальной идеализацией сельской жизни в поэзии XVIII века отчетливо звучат размышления о суетности света, противостоящей истинному блаженству. “Свет исполнен злых пороков / И исполнен суеты”, – вынес свой вердикт В.И. Майков в оде “О суете мира”.

“Наполнен век наш суетою, / Нигде блаженства в нем не зрим”, – писал А. А. Ржевский. Поэт рассуждает о ложных устремлениях и самообольщениях людей: “Всяк то блаженством почитает, / К чему страсть ум его влечет, / И правды в слепоте не знает, / И суеты блаженством чтет”.

Завершая свой “Станс”, автор провозглашает: “В одном спокойствии душевном / Блаженство наше состоит”.

Ценность душевного спокойствия противопоставлена в стихотворении искательству чинов, сословной гордости, скупости, тиранству, волокитству, щегольству и пьянству – всем порокам суетной светской жизни.

По-своему ответил на вопрос о земном блаженстве Н.М. Карамзин: “Верна дружба! Ты едина / Есть блаженство на земле”.

Сентиментализм принес в русскую поэзию свою иерархию ценностей. Разочарование в показной пышности правления Екатерины II окрасило буколические сельские мотивы оппозиционностью по отношению к придворному быту и великосветской жизни. С явным вызовом императорскому величию писал И.И. Дмитриев: “Эрмитаж мой – ого-

род, / Скипетр – посох, а Лизета – / Моя слава, мой народ. / И всего блаженства света”.

“Переоценка всех ценностей” в последние десятилетия XVIII века проявилась в ироническом скепсисе по отношению и к имперским идеалам, и к просветительским надеждам на силу разума и знаний. Их затмили собой эпикурейские и анакреонтические ценности любви и дружеского застолья. Вполне откровенно это высказали безымянные авторы комических песен конца XVIII века:

Пусть вольность защищает
Невольник новых прав.
Пусть он покой теряет,
Спокойствия искав.
Я воли не желаю.
В неволе дорогой
И в хижине вкушаю
Блаженство все с тобой.

Это каламбурное обыгрывание смыслов слова *воля* делает песенку веселой остроумной шуткой, невольно выдающей горькую разочарованность в надеждах на переустройство мира.

Недовольство существующим порядком вещей заставляет переосмысливать понятие *блаженства*. “Блаженны при дворе Фингалы хладнокровны”, - саркастически произносит в сатирическом послании Н.А. Львов. “Блажен тот муж, кто к Безбородке / Не бродит с просьбой по утрам”, - язвительно заявляет И.И. Дмитриев. “Блажен не тот, кто всех умнее”, - грустно замечает Н. М. Карамзин, и, словно откликаясь на эту мысль, в “Песне моему блаженству” пишет С. Пестов: “Блаженство жизни сей вкушает / Не тот, заботится кто век” (Беседующий гражданин. 1789. Ч. 2. Июль. С. 294).

Все эти примеры демонстрируют “девальвацию” слова *блаженство*. Сфера его употребления из псалмических и идиллических произведений перемещается в сатирические и комические, обозначая тем самым ценностные изменения в сознании литераторов конца XVIII века.

Апофеозом “ценностного крушения” *блаженства* стала анонимная эпиграмма против некоего Клитандра, опубликованная в 1804 году в № 14 “Вестника Европы” за подписью У.Ф.Х.Ц.Ч. Вот текст этого стихотворения, составленный из 14 различных толкований слова *блажен*, часть из которых иронична, но большинство же проникнуто обличением и сатирой:

Блажен, кому всегда печаль и скуки чужды;
Блажен, кто не имел в родных ни разу нужды;
Блажен, кто не роптал веки на судьбу;
Блажен, равняющий с Расином К<оцебу>.

Стократ блаженна та судебная палата,
Котора трезвыми подъячими богата;
Блажен, кто не имел, однако ж, с ними дел.
Блажен, кто от стихов своих разбогател;
Блажен, кто верную любовницу имеет;
Блажен, кто Кантовы писанья разумеет;
Блажен ревнивый муж, проживший без рогов;
Блажен, кто дослужась до старших генералов,
Ни разу не видал ни пушек, ни врагов;
Блажен, кто не бывал издателем журналов;
Но тот блаженнее едва ль не всех святых,
Кто не читал поэм и драм, Клитандр, твоих!

В эти 16 строк вместились едва ли не все темы басен, эпитаграмм, сатиры и пародий предшествующего века.

Однако слово *блаженство* не ушло из поэтической практики русских авторов, сохранившись как в переводах и переложениях древних текстов, так и в собственных стихотворениях, продолжавших воспевать блаженство свободного вдохновения вдали от светской суеты.

И все же *блаженство* в XIX веке чаще стало заменяться словом *счастье*, как, например, у Н.М. Языкова: “Счастлив, кто убежал от светских наслаждений” (“Е.А. Баратынскому”) или у К.Н. Батюшкова: “...я счастлив и богат, / Когда снискал себе свободу и спокойство, / А от сует ушел забвения тропой” (“Мечта”).

Обращаясь к слову *блажен*, А.С. Пушкин прибегал к традиционно возвышенному тону: “Блажен, кто в отдаленной сени...” (“Уединение”) или к иронии в известных строках из “Евгения Онегина”: “Блажен, кто смолоду был молод ...”. *Блажен* встречается у поэта более 30 раз и почти столько же – слово *блаженство*.

Совершенно иное значение и другое настроение внес в эту тему Ф.И. Тютчев. “Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые”, - пророчествовал он в стихотворении “Цицерон”, воскрешая изначальный библейский смысл понятия блаженства как искупительного страдания во имя грядущего.

“Исчадь мечты”

Поэтические метафоры со словом “исчадь”

© Н. Н. КУЗНЕЦОВА,
кандидат филологических наук

Слово *исчадие* в древнерусских текстах разных жанров имело, согласно Словарю русского языка XI–XVII вв., четыре значения: 1. *Порождение*. 2. *Дитя, потомок*. 3. *Потомство, племя*. 4. *Чаще мн. Наследники (каких-л. дурных качеств), отродье* [1].

Современные словари фиксируют устойчивое словосочетание *исчадие ада* – со значением *о ком-л., внушающем отвращение или ужас своими поступками, видом, характером, надоедливостью* [2].

Данная метафора присутствует в поэтических текстах в своем исходном виде, например, у А.П. Бенитского: “*Исчадь ада злое*” [3], у Б. Пастернака: “*Октябрь. Кольцо забастовок. О ветер! О ада исчадь!*” [4].

Однако в целом ряде контекстов наблюдается “оживление” этой стертой метафоры, и в каждом из них она получает новое образное наполнение. Например, у И.А. Бунина находим:

*О дикое исчадь древней тьмы!
Не ты ль когда-то было громовержцем?
– Не Бог, не Бог нас создал. Это мы
богов творили рабским сердцем [5].
(Курсив здесь и далее наш. – Н.К.)*

Вместо *ада* у поэта *тьма*.

Если у Бунина *исчадь тьмы*, то у Мандельштама – *исчадь ночи*:

*Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебен,
Старухи овцы – черные халдеи,
Исчадь ночи в капюшонах тьмы.*

В данном стихотворении 1915 года О. Мандельштам обращается к излюбленной теме Древнего Рима. *Старухи овцы – черные халдеи – исчадь ночи* – образы, наделенные очень сложной семантикой, когда одновременно реализуется прямое и переносное значение. Более подробное их описание в других строфах (*недовольные плебеи; трясутся и бегут, как жеребья в огромном колесе; они идут в священном*

беспорядке) позволяет говорить о состоянии тревоги, предчувствии беды, которые автор ненавязчиво, но со всей определенностью выразил в своем стихотворении, обратившись к кровавой истории Древнего Рима.

Гораздо более “прозрачна” пастернаковская метафора в стихотворении “Пирь” 1913 года.

*Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветер ночей – тех здравиц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбьется никогда.*

В этой “оживленной” метафоре *исчадья мастерских* замена второго члена указывает на принадлежность лирического героя к цеху поэтов. В ней сконцентрировано дальнейшее развитие темы. Лексемы *трезвость* и *надежный* являются выразителями одних и тех же смыслов: *рассудочный, идущий от ума*. Им, в свою очередь, противопоставляется метафора *тревожный ветер ночей*, актуализируя значения *эмоциональный, идущий от сердца*. Тем самым, вводя данную оппозицию, поэт осознает себя как человека, ремеслом которого стала поэзия, а значит, он изначально чужд рациональности и расчетливости, живет чувствами и отстаивает свое право на это, желая, чтобы остальные люди (в том числе и любимая) воспринимали его именно таким.

Музой плача нарекла М. Цветаева в 1916 году А. Ахматову:

*О муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную насылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы [6].*

В “оживленной метафоре” *исчадие* актуализирует значение *детиче*; словосочетание *белая ночь* – перифраз, обозначающий Петербург. Сложность образа создается прежде всего эпитетом. Словарное значение слова *шальное* – “неуравновешенное, сумасбродное, безрассудное”. Применительно же к А. Ахматовой, думается, на первый план выходит внутренняя форма слова *безрассудное* – *без рассудка*, т.е. основанное на чувствах, способное их выразить, такое же стихийное, как метель. Антитеза *белая ночь* – *черная метель* призвана отразить столкновение светлого мира поэтессы с *черной метелью* жизни.

Исчадьем мечты называет свою музу М. Петровых в стихотворении “Муза” 1930 года.

*Исчадье мечты, черновик соловья,
Читатель единственный, муза моя,
Тебя провожу, не поблагодарив,
Но с пеной восторга, бегущей от рифм.*

В данном контексте у слова *исчадь* на первый план выходит значение *дитя*. Этому же способствует и неожиданное сочетание со словом *мечта*. Оно сообщает образу явно положительное звучание: вдохновение, поэтический талант – то, к чему стремилась, о чем грезила героиня. Это бесценный дар для нее. Свежа и другая метафора музыки – *черновик соловья*. Светлый, мажорный эмоциональный настрой стихотворения и свежесть образов обуславливают его экспрессивный заряд.

*Дымное исчадь полнолуныя,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камней.
От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.*

Свою метафору создает в 1946 году А. Ахматова в стихотворении, посвященном реальному лицу и близкому другу поэтессы – балерине Т.М. Вечесловой. Как утверждают исследователи, в произведении подчеркивается литературная преемственность образа “плясуньи” с роковыми женщинами, увековеченными искусством. “Оживление” стертой метафоры призвано создать только общее впечатление. При этом слова *дымное* и *полнолуныя* вызывают ассоциации с чем-то нереальным, эфемерным, призрачным. Так как это стихотворение о балерине, то возможно, такая метафора создает образ легкой, воздушной феи на пуантах. *Исчадь* здесь, на первый взгляд, актуализирует смысл о ком-то, вызывающем сильные роковые чувства.

Свой современный смысл вносит в оживление стертой метафоры И. Бродский:

*Ты в коричневом пальто,
Я, исчадь распродаж.
Ты – никто, и я – никто.
Вместе мы – почти пейзаж [7].*

В данном контексте, самом позднем по времени написания (1984 год), уже близком современному читателю (в том числе и по тематике), метафора сохраняет свою лаконичность – она не распространена прилагательными. Лаконичен и весь контекст в целом. Образ, созданный этой метафорой, понятен, ярок, зрим. Хотя и здесь лексеме *исчадь* можно в целом приписать смысл *дитя*, тем не менее, в семантической структуре на первое место явно выходит значение *племя*. Перед читателем – образ эмигранта, одевающегося на распродажах. В этой обновленной метафоре, на наш взгляд, активизируется и омонимичное значе-

ние корня (*чадо* – *чад*), и – одновременно – второй член исходной метафоры (*ад*): в чаду распродаж, в аду распродаж.

Итак, приведенные контексты являются примерами “оживления” одной и той же стертой метафоры – *исчадье ада*. Семантика второго компонента, безусловно, придает резко отрицательный смысл данному фразеологизму (он используется в качестве неодобрительного, даже оскорбительного выражения). Благодаря же замене этого компонента эмоциональная оценка новых, живых метафор варьируется: *дикое исчадье древней тьмы* – продолжает оставаться резко отрицательной (особенно за счет определений); *исчадье распродаж* – приобретает пренебрежительный оттенок; *шалльное исчадье ночи белой и дымное исчадье полнолуныя* – наоборот, выражает некоторое любование; в метафорах *исчадье ночи* и *исчадья мастерских* эмоциональный фон создается за счет контекста в целом; наконец, в примере *исчадье мечты* метафора приобретает явно положительную оценку.

Многозначность слова *исчадье*, его стилистическая экспрессивность способствовали тому, что и Б. Пастернак, и М. Цветаева, и М. Петровых могли метафорически говорить об особенностях поэтического дара и судьбы, А. Ахматова и И. Бродский – выражать свое эмоциональное отношение к друзьям и современникам, И. Бунин и О. Мандельштам – к истории человечества.

Литература

1. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975-. Вып. 6. С. 351.
2. Бирix А.К., Мокиенко А.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. СПб., 2001. С. 236.
3. Поэты начала XIX века. Л., 1961. С. 457.
4. Пастернак Б. Соч.: В 4 т. М., 1989. Т.1. С. 309.
5. Бунин И.А. Стихотворения. Рассказы. М., 1986. С. 47.
6. Цветаева М. Через сотни разъединяющих лет... Свердловск, 1989. С. 89.
7. Бродский И. Соч.: В 4 т. М., 1994. Т. 3. С. 83.

“Черты возвышенной античной красоты”

Стилистика антологической поэзии второй половины XIX века

© Л. К. ГРАУДИНА,
доктор филологических наук

К антологической поэзии относятся произведения, созданные в традициях античной лирики. Этот жанр классической русской поэзии был особенно популярен и в XVIII, и в XIX веках. Русских поэтов, как и западноевропейских, привлекали изящество, красота и гармония художественной формы античной поэзии.

Античная эстетика, развивавшаяся в Древней Греции и Риме в период с VII–VI веков до н.э. по V–VI века, пленяла поэтов живостью, карнавальностью и пластичностью изобразительной формы. Поэты видели в антологии греческой и римской поэзии, как писал Белинский, «“всемирную мастерскую”, через которую должна пройти всякая поэзия в мире, чтоб научиться быть изящною поэзиею» [1]. Истоки поэтической эстетики времен античного мира восходили к сложившимся тогда мифологическим представлениям с их подчеркнутым космологизмом. Мысли о возвышенном величии мира, характеризующегося гармоническими пропорциями и соразмерностью, неувыдаемой красотой, разлитой в природе, легли в основу художественных воплощений в разных видах искусства и, в первую очередь, в поэзии, в скульптуре, живописи, архитектуре и музыке. Художественное отражение чувственно-наглядного и конкретного мира в соответствии с законами меры, ритма, гармонии и красоты стало одной из важнейших категорий эстетики поэтического творчества.

Усиленный интерес к античности и к антологическому жанру проявляли в XVIII веке М.В. Ломоносов (см. его оду “Разговор с Анакреоном”), Г.Р. Державин, М.Н. Муравьев, К.Н. Батюшков.

Подлинного же расцвета жанр антологических стихотворений достиг под пером Пушкина и поэтов “пушкинской плеяды” (А. Дельвига, В. Кюхельбекера, П. Вяземского и др.). “Рифма” – одно из антологических стихотворений Пушкина, написанное гекзаметром:

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу Пеня.
Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал.
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога;
Меж говорливых наяд, мучась, она родила

Милую дочь. Ее прияла сама Мнемозина.
 Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,
 Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой,
 Музам мила; на земле Рифмой зовется она.

Под пером русских и европейских поэтов происходил процесс идеализирования искусства древности. Исследовательница русской лирики Н. П. Сухова замечает: «Искусство античности воспринималось... поэтами в эстетической традиции, характерной для XIX века, т.е. по законам красоты, – как идеал, образец и норма. Сама мифология Древней Греции виделась словно изваянной прекрасным резцом, эстетически возвышалась. Хотя в действительности, как пишет исследователь античности С.С. Аверинцев, греческий миф совсем не “красив” и не “благороден”... здесь точно такой же избыток зверской жестокости, щемящего страха, гротескной непристойности, как и во всякой невыдуманной мифологии...» [2].

Само отношение к “антологическому роду” в русской поэзии со временем менялось. В первой трети XIX века состав антологической лирики по жанру был чрезвычайно разнообразен. Поэты сочиняли элегии, идиллии, оды, послания (“Греческие девицы к юношам” Ф. Глинки); анакреонтические стихи, художественные эпитафии (“Гробница Анакреона” М. Дмитриева), мадригалы, эпиграммы в духе возвышенных древнегреческих кратких высказываний, надписи, куплеты и т.д. Словом, репертуар антологических стихотворений был пестрым, разнородным и состоял из более крупных и относительно мелких жанровых форм.

В сороковые годы XIX века в процессе полемики вокруг цели и назначения поэзии “антологический род” стал переосмысливаться и восприниматься как определенный взгляд на искусство, на поэзию и способы творчества. Один из самых талантливых антологистов А.Н. Майков (1821–1897) выразил мысли на эту тему в стихах:

Возвышенная мысль достойной хочет брони.
 Богиня строгая – ей нужен пьедестал,
 И храм, и жертвенник, и лира, и кимвал,
 И песни сладкие, и волны благовоний.

...Малейшую черту обдумай в ней,
 Чтоб выдержан был строй в наружном беспорядке,
 Чтобы божественность сквозила в каждой складке
 И образ весь сиял – огнем души твоей!

..Исполнен радости, иль гнева, иль печали
 Пусть вдруг он выступит из тьмы перед тобой –
 И ту рассеет тьму, прекрасный сам собой
 И бесконечностью за ним лежащей дали...

Антологический жанр противопоставлялся туманному и мечтательному романтизму медитативной лирики “рефлектирующего” типа с его неопределенными образами, вялым унынием и полным отсутствием внутреннего энергетического центра. В 1846 году А.Н. Майков замечал: “Куда как надоел элегий современных / Плаксивый тон...”

В.Г. Белинский русскую антологическую традицию ценил и поддерживал не только за ее бесспорные художественные достижения, но еще и потому, что видел в ней переходный этап к новым направлениям в русской поэзии и прозе, которым было суждено победить. В этом отношении интересно его высказывание о греческом искусстве, ставшем фундаментом антологического направления. Критик писал: “Всего естественнее искать так называемого искусства у греков. Действительно, красота, составляющая существенный элемент искусства, была едва ли не преобладающим элементом жизни этого народа. От того искусство его ближе всякого другого к идеалу так называемого чистого искусства. Но, тем не менее, красота в нем была больше существенной формой всякого содержания, нежели самим содержанием. Содержание же ему давали и религия, и гражданская поэзия, но только всегда под очевидным преобладанием красоты” [3].

Многие поэты второй половины XIX века были воистину влюблены в греческую античность и оставили шедевры, достойные внимания потомков. Так, неподдельное восхищение миром античности – “идеальным миром красоты и гармонии” было выражено в “Статусе Елены” (1846) – одном из многих антологических стихотворений Н.Ф. Щербины:

Скажите мне, кто дерзкий тот художник,
Что божество с Олимпа к нам низвел,
Которому вселенная треножник
И блеск небес достойный ореол? ..<...>

Стою, как раб пред дивным изваяньем,
Проникнутый немим очарованьем;
Едва дыша, взираю на черты
Возвышенной античной красоты.

Лучшим поэтам, работавшим в рамках этого направления, “удавалось найти ту цельность личности, непосредственность, яркость чувства, которые были утрачены современниками” [4].

В 40–50-е годы к сочинению антологических стихотворений охотно обращались такие популярные в свое время поэты, как А.Н. Майков, Л.А. Мей, А.А. Фет, Н.Ф. Щербина, поэты, имена которых известны лишь специалистам: А.П. Греков (1807–1866), С.Ф. Дуров (1816–1869), И.П. Крешев (1824–1859), М.Л. Михайлов (1829–1865), Д.П. Ознобшин

(1804–1877), А.Н. Пальм (1822–1885), В.С. Печерин (1807–1885), П.А. Плетнев (1792–1865), А.Н. Струговщиков (1808–1878).

Знакомясь с антологическим творчеством поэтов, выделим стилистические особенности этого жанра. Это не только обращение к античным сюжетам и античным жанрово-тематическим формам стихотворных произведений. Главная отличительная черта состояла в использовании характерного арсенала приемов античного стиля. Во-первых, воспроизведение “местного” колорита осуществлялось с помощью греческих и древнегреческих мифологизмов, топонимов, этнонимов, прикреплённых к событийной канве стихотворений, как, например, в стихотворении Льва Мея “Амимона” (1855):

Привет тебе, привет, певучая волна!
Ты принесешь ко мне младую Амимону:
На легком челноке плывет ко мне она,
Вверяясь твоему изменчивому лону...<...>

Но если бы тебя, красавица моя,
Прияла невзначай кристальная пучина,
Поверь – твоя краса и твой невинный вид
Внезапным ужасом подводных дев смутили
И вряд ли бы тебе на помощь поспешили
Чернокудрявые станицы *нерейд!*..
Опида, *Кимадос* и белая *Нерея*
Глядели б на тебя, от зависти краснея...
(Курсив здесь и далее наш. – Л.Г.).

Общее число мифологизмов, оставленных в наследство из литературных (прозаических и стихотворных) текстов XVIII века и применявшихся широко в антологической поэзии XIX века, составляло примерно около трехсот единиц [5]. Это были, во-первых, имена богов и героев греко-римского пантеона (Юпитер, Аполлон, Афродита, Зевс, Диана, Марс, Нептун, Плутон, Бахус и т.д.), а также нимфы-божества природы: океаниды, nereиды, наяды, дриады; божества ветров (Борей, Зефир, Эол); божество вечерней звезды – Геспер (Веспер), богиня утренней звезды – Аврора.

Следующую лексико-семантическую группу составляли наименования героев и персонажей древнегреческих поэм (Парис, Прометей, Геркулес, Пенелопа, Пигмалион, Лаокоон и др.), имена художников, скульпторов, полководцев и властителей античного времени (Алкивиад, Лизипп, Анакреон, Катон, Нерон и др.). Наконец, третья лексико-семантическая группа – это мифолого-географические наименования: названия рек и водных источников (Лета, Ахерон, Кастальский ключ и т.д.); названия гор (Геликон, Парнас, Олимп); названия городов (Троя, Илион, Итака и др.).

Многие из мифологических имен, широко употреблявшихся в поэзии не только в антологическом ее роде, стали нарицательными. Такие, например, как *муза, зефир, амур, фортуна, нимфы, фурии, морфей, пены* и т.д.

В пору вхождения греко-римской теонимики античная стихия закреплялась в сознании читателей через определенную систему образов, приобретавших значение поэтических символов. Так, имена Стикса, Леты, Ахерона, конечно же, связывались с образами смерти; имена Амура, Афродиты, Купидона – с образами любви и т.д. Происходил процесс канонизации понятий античной мифологии и укоренения их в качестве символов в русской поэзии не только XIX, но и XX века.

Вторая отличительная черта антологической лирики: широкое применение имитации античной метрики; особенно часто использовалось сочетание гекзаметра и пентаметра, например, в форме так называемого русского элегического дистиха – в антологическом собрании стихотворений А. Струговщикова:

Экзаметр и пентаметр

Светлым покоем струится Гекзаметра стих грациозный;
Сжат, гибок и смел – вот он Пентаметр мой!

Или из антологических подражаний Фридриху Шиллеру в творчестве М.Л. Михайлова:

Наше поколение

Ты непонятно мне, племя! Иль было и прежде, как ныне?
Молоды старцы теперь, юноши стары у нас!

В стихотворениях антологического рода употреблялись и другие античные размеры: александрийский стих, алкеев стих, алкманов стих.

Свое особое отношение к александрийскому стиху П.А. Вяземский выразил так:

Я признаюсь, люблю / мой стих александрийский,
Ложится хорошо / в него язык российский,
Глагол наш великан, / плечистый и с брюшком,
Неповоротливый, / тяжелый на подъем.
И руки что шесты, / и ноги что ходули,
Пядь полновесную / как в землю вдавит он,
Подумаешь, что тут / прохаживался слон...

Здесь в стихах смежные рифмы – женские и мужские – чередуются, а после третьей стопы обязательно обозначенная нами цезура, которая делит стих на две равные метрические половины.

Третья особенность поэтики антологистов заключается в том, что традиции “античной красоты” поддерживались поэтами с помощью лексики повышенной экспрессии. В русском поэтическом языке XIX века подобную роль выполняли, прежде всего, стилистические славянизмы. Несмотря на то, что в литературном языке послепушкинского времени наблюдался интенсивный процесс стилистической эволюции славянизмов (особенно редких неполногласных вариантов, таких, как *глад*, *млат*, *мразный*, *праг* и под.) в сторону их вытеснения и замены русизмами, все же именно в циклах антологических стихотворений славянизмы употреблялись чаще и задерживались дольше, чем в основной массе лирических произведений на современные темы (в элегиях, посланиях, стихотворениях на случай и т.д.).

Приведем несколько контекстов применения подобной лексики.

А.А. Фет:

Долго еще прогорит Вespera скромная лампа,
Но уже светит с небес девы изменчивый лик.
Тонкие змейки *сребра* блещут на влаге уснувшей.
Звездное небо во мгле дальнего облака ждет.

(Вesper – в римской мифологии – божество вечерней звезды; в переносном смысле – вечерняя звезда).

Н.Ф. Щербина:

Наполним же звонкие чаши, Николя,
Душистым, наксосским вином!
Тебя ожидал с нетерпеньем давно я...
Возляжем на ложе вдвоем.

На это пурпурное шитое ложе
Мы бросимся жадно с тобой,
И *пестро-златистая* барсова кожа
Обнимет нас теплой волной!

Пусть наши сердца загорятся, забьются,
Взволнуется юная кровь,
И крепко *уста* поцелуем замкнутся,
И вздохом раскроются вновь <...>

Дай страсти, Киприда, дай больше мне страсти,
Восторгов и жара в крови,
Всего же *не предай одуряющей власти*
Больной и безумной любви...

Аналогичных примеров из творчества этих и других поэтов можно привести множество. Среди неполногласных вариантов антологисты

использовали даже такие редкие существительные, как *блато* (болото), *брада* (борода), *вран* (ворон), *млат* (молот), *праг* (порог), так же как и редкие прилагательные *драгой* (дорогой), *млечный* (молочный), *мразный* (морозный), *сребряный* (серебряный) и др. Общее число отмеченных в антологических стихотворениях одних только неполногласных вариантов составляет не менее пятидесяти лексических единиц (если считать не одни лишь редкие, но и часто употребляемые варианты типа *брег*, *злато*, *глава*, *древо*, *златой*, *сребро*, *сребристый*, *чреда* и др.).

Казалось бы, стилистические славянизмы, пришедшие в свое время в литературный язык из источников с церковнославянской лексикой, должны были сохранять особую тональность и применяться чаще в роли библеизмов – в текстах и в поэзии христианского содержания. Ведь в мировоззренческом смысле христианство и языческая античность противостояли друг другу. Об этом с давних времен велись споры. Так, касаясь антологических тем русской поэзии, Д.С. Мережковский писал: “Античный мир в самых совершенных художественных образах воплотил ту нравственную систему, в которой земное счастье является крайним пределом желаний. Христианство протествовало против античной нравственности: оно противопоставляло земному счастью – счастье неземное и бесконечное, устремило волю человека за пределы видимого мира, за границу явлений. Спор христианской и античной нравственности до сих пор еще нельзя считать законченным...”. Однако “красота классической древности, как совершенное воплощение одной из этих точек зрения, будет сохранять свое обаяние” [6].

Продолжение следует

Литература

1. *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.-Л., 1953–1959. Т. VII. С. 224.
2. *Сухова Н.П.* Мастера русской лирики. М., 1982. С. 12–13.
3. *Белинский В.Г.* Взгляд на русскую литературу 1847 года// Белинский В.Г. Соч. в 4 т. СПб., 1900. Т. IV. С. 595.
4. История русской литературы. От сентиментализма к романтизму и реализму. Л., 1981. Т. II. С. 486.
5. *Мережковский Д.С.* Вечные спутники. М., 1995. С. 481.



Писатели второй половины XIX века о словах русских и нерусских

© Э. Л. ТРИКОЗ

В художественных и публицистических текстах русских писателей второй половины XIX века нередко встречается “сознательное отслеживание и анализ собственной мысли” по поводу тех или иных языковых явлений [1. С. 21].

Так, размышления по поводу произношения слова содержат орфоэпическую оценку звучащей речи: «Два слова о бабушке: она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в мужество в дворянский род... Войдя в дворянский круг, она уступила многим его требованиям.., но думала всегда простонародно и даже без намерения, конечно, удержала некоторую простонародность в речи. Она говорила “ехтот” вместо “этот”» [2. Т. 2. С. 132]; «Скелет, или, как говорят фельдшера и классные дамы, “шкилет”. Имеет вид смерти. Покрытый простынею, “пугает насмерть”, без простыни же – не насмерть» [3. Т. 2. С. 199–200].

Зайствованные слова с еще не установившейся традицией произношения и написания порождали разнообразные фонетические варианты: “как можно *комфортэбльнее* и удобнее, то есть так, чтоб получить на свою долю как можно менее хлопот и забот и как можно более покой” [Отечественные записки. 1860. Т. 133. С. 1].

Осуждению подвергалось неправильное произношение отдельных звуков с точки зрения нормы русского литературного языка, в частности, произношение французского *r*: “Русский французский язык второго разряда, то есть язык высшего общества, отличается опять-таки прежде всего произношением... и фальшь выдает себя с первого звука, и прежде всего этой усиленной надорванной выделкой произношения, грубостью подделки, усиленностью картавки и грассейемана, неприличием произношения буквы *r* и, наконец, в нравственном отношении – тем нахальным самодовольством, с которым они выговаривают эти

картавые буквы... с которой они щеголяют один перед другим подделкой под язык петербургского парикмахерского гарсона..." [4. Т. 23. С. 78].

В таких замечаниях запечатлены типичные случаи замены одного звука другим, свойственные говорам: "И до того живо было в умном старике впечатление тех времен, что, начиная мне рассказывать о *граде* (так малороссияне произносят *графа*), величавый дед озирался, точно высматривал кого из-за кустов..." [Отечественные записки. 1861. Т. 135. С. 362].

Отступления от литературной нормы произношения и написания в текстах часто выделяются курсивом или заключаются в кавычки.

Новые заимствованные слова впервые появлялись на страницах газет и журналов, в которых шла настоящая борьба за утверждение орфографической нормы. Аргументированный комментарий по поводу выбора единственно верного варианта написания таких слов отражен в высказывании из критической статьи «О "Руководстве к теоретическому и практическому изучению судебной медицины для врачей и юристов доктора Шюрмайера"»: "В другом месте в списке иностранных слов автор замечает, будто должно писать не *лотерея*, а *лоттерейя*, не *коммерция*, а *комерция*. Мы находим это несправедливым: французские слова *commerce*, *loterie* ясно указывают на правописание" [Отечественные записки. 1852. Т. 80. С. 105–106].

Редкий пример размышления по поводу написания прописной и строчной буквы находим в апокрифическом сказании "Сошествие во ад" Н.С. Лескова, в примечании к слову *ад*: "Ад пишется со строчной буквы, где этим словом обозначается преисподняя, как место мучения, и с прописной, где *Ад* трактуется как лицо. Так же и смерть – как умирание, и Смерть – как лицо" [2. Т. 12. С. 345].

Замечания о самостоятельно созданных словах наиболее распространены в текстах Лескова, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Толстого и др. Например, Ф.М. Достоевский посвящал словам собственного творчества (*дарвалдаять*, *стушеваться*, *джентельменничанье* и др.) целые отрывки в "Дневнике писателя", записных тетрадях за разные годы. Он подчеркивал авторство глагола *стушеваться*: "...во всей России есть только один человек, который знает точное происхождение этого слова, время его изобретения и появления в литературе. Этот человек – я, потому что ввел и употребил это слово в литературе в первый раз – я..." [4. Т. 26. С. 65].

В предлагаемом примере содержится полуироничная оценка иностранных слов в речи купцов: "...И манера держать себя, и совершенно правильная речь, испещренная словами "экспорт", "коносамент", "брутто" и т.д. – все это было чрезвычайно ново и возбуждало... всеобщее ласковое внимание» [Книжки "Недели". 1885. № 10. С. 5].

Рост суффиксальных словообразований во второй половине XIX века вызывал многочисленные отклики на это явление: “Народишко весь так избаловался – сообразить нельзя... Такое пошло своевольство, своебышество, сказать невозможно” [Современник. 1865. № 10. С. 511]; “Земля изнуряется, усадьбы сносятся, земство *крестьянизируется*”* (в примечании к слову следует: “Вот русский язык-то!”) [Русь. 1884. № 22. С. 35].

Толкования фразеологизмов, как правило, вызваны сложностью их понимания: «Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя... он и подавно оставит на бобах». – “То есть как это, – говорит, – на бобах?”. – “Ну, матушка, это ты дурачишься”. – “Нет, не дурачусь”. – «Да разве ты не знаешь, что значит “оставить на бобах”? Ничего не даст Машеньке, – вот и вся недолга» [2. Т. 7. С. 7]; «Издатель “Гражданина” в одном из своих последних дневников указывает на то, как поверкают у нас по невежеству некоторые поговорки. Например, все мы повторяем такую поговорку: “На тебе, Боже, что нам не гоже”; а между тем, она исковеркана и нелепа; а вначале она была так: “На те, убожи (убогий), что мне не гоже”. Другая поговорка исковерканная и нелепая: “Сухо дерево, завтра пятница”. А на деле она так говорится: “Сухо дерево назад не пятится»» [Современная летопись. 1898. № 28. С. 111]. Такие примеры часто содержат описание внутреннего процесса поиска говорящим образного значения фразеологизма и его компонентов.

Графическое выделение словообразовательного окказионализма находим в записной тетради Достоевского за 1875–1876 годы: писателем выделено слово *лгушка* (от глагола *лгать*) [4. Т. 24. С. 71]. Эта фиксация свидетельствует о том, что в сознании говорящего существует словообразовательная параллель по роду к существительному мужского рода *лгун*. См. также пример со словом *эксплоататорша* из письма А.П. Чехова: “Милая актрисуля, *эксплоататорша* души моей, зачем ты прислала мне телеграмму?” [3. Т. 2. С. 246].

Реакцию на ненормативное наречие встречаем в романе Потанина “Старое старится, молодое растет”: «К “завтра” говори, Лидия! Что за “к завтраму”? Говорить совсем не умеешь! – сказала нервная маменька, которую потревожило одно русское слово, выговоренное не так, как она привыкла говорить его сама...» [Современник. 1861. № 3. 76]. Маменька, образованная дворянка, четко разграничивает просторечную форму и литературную.

Лишь некоторые писатели пытаются комментировать синтаксические формы – словосочетания и предложения, сопровождая их при этом эмоциональной оценкой: “*Руководство писать* – фраза нерусская, а как известно, что по платью встречают, то такая неправильность в заглавии может внушить страшным пуристам недоверие к книжке” [Отечественные записки. 1852. Т. 80. С. 106]. В дневнике Достоевского за 1876 год находим: «Вместо дитяти семи лет, вместо ангела, – перед вами

явится девочка “шустрая”, девочка хитрая, крикса, с дурным характером, которая кричит, когда ее только поставят в угол, которая “горазда кричать” (какие русизмы!)...» [4. Т. 22. С. 60].

Процесс распространения витиеватых конструкций сложноподчиненного предложения в официально-деловой, публицистической, ораторской речи вызвал такое замечание, например в книге М.Е. Салтыкова-Щедрина “За рубежом”: «Во всей обширной сфере законодательства вы не только не встретитесь с оскудением, но, напротив, скорее найдете излишество творчества... и везде в выноске либо “понеже”, либо “поелику”... Об литературе и говорить нечего: известно, что голь на выдумки хитра. Литература живет выдумкой, и чем больше в ней встречается “понеже” и “поелику”, тем осязательнее ее влияние на мир...» [5].

Через приведенные размышления может выражаться ироничное отношение писателя к слову или особое пристрастие к нему, оценка степени его новизны, отклонения от нормы, стилистической уместности употребления.

Литература

1. Венрева И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. М., 2005. С. 21.
2. Лесков Н.С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1989.
3. Переписка А.П. Чехова. В 2-х т. М., 1984.
4. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990.
5. Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т. 7. С. 106–107.

“Атлантидные” мотивы в творчестве Д.С. Мережковского

© Е. А. ОСЬМИНИНА,
кандидат филологических наук

Образ Атлантиды, один самых загадочных и притягательных в мировой литературе, можно встретить во многих произведениях Д.С. Мережковского, как дореволюционных, так и эмигрантских. Легендарная страна упоминается уже в самом первом историческом романе писателя, в “Юлиане Отступнике”: придворные при дворе Констанция “завидовали жителям сказочной Атлантиды, которые спят, по уверению Платона, не видя снов” [1]. Заметим, что ссылка на Платона неверна. О том, что атланты не видят снов, писал Геродот: “Рассказывают, будто они не едят никаких живых существ и не видят снов” [2].

Следующее упоминание об Атлантиде – в романе “Александр Первый”: “Когда-нибудь участь Атлантиды постигнет Петербург...” [3]. Петербург у Мережковского четко распланирован, размечен, как столица Атлантиды, согласно Платону. И одновременно – это нереальный, призрачный, фантастический город, которому грозит гибель (участь Атлантиды). Наиболее глубоко и полно, с обоснованием ключевых мифологем и мотивов, образ легендарной страны раскрыт в книге Мережковского “Тайна Запада. Атлантида – Европа” (1930). Почему писатель именно в это время обратился к означенной теме? Интерес к Атлантиде, существующий со времени Платона, то вспыхивал, то угасал в определенные эпохи. В 1923 году в Париже стал издаваться журнал “Atlantis”. Через три года там же было организовано Общество атлантологических исследований, “главной задачей которого стал критический и научный анализ всех проблем, связанных с существованием Атлантиды, сбор литературы и оказание поддержки всем научным исследованиям, касающимся этой чрезвычайно интересной проблемы” [4].

Все это не могло не повлиять на Мережковского. В основу книги “Тайна Запада” им была положена идея единства мировой культуры и цивилизации. Есть в ней и политическая злободневность – называя Европу современной Атлантидой, писатель грозит ей гибелью Титаника (весьма распространенный образ в европейской публицистике), судьбой платоновской Атлантиды, библейским Апокалипсисом. “Демоны” войны и пола могут привести Европу к катастрофе: “Похоть пылает огнем в крови, кровь льется на войне, как вода: вода и огонь соединяются в один вулканический взрыв – конец мира” [5. С. 369].

Но, как всегда, Мережковский использовал актуальную и интересную тему для того, чтобы высказать собственные идеи, выразить свою концепцию.

Первый мотив “Тайны Запада” – богочеловечество, Царство Божье на земле, которые существовали в Атлантиде. Мережковский называет диалог Платона “Тимей” продолжением «если не существующего, то воображаемого диалога “О республике” <...> цель обеих бесед одна – строение наилучшего Града, Полиса» [5. С. 236]. Платон – творец мифа об Атлантиде – в диалогах “Тимей” и “Критий” говорит об островном государстве в “Атлантическом море” перед Гибралтарским проливом, основанном Посейдоном и славном своим справедливым правлением – пока в его правителях сохранялась божественная кровь. По мере ее оскудения люди развратились: “Но когда унаследованная от бога доля ослабла, многократно растворяясь в смертной примеси, и возобладали человеческий нрав, тогда они оказались не в состоянии далее выносить свое богатство и утратили благопристойность” [6], начались войны (афиняне смогли победить напавших атлантов), и остров был затоплен водой. Большинство пишущих об Атлантиде используют этот миф, прямо цитируя Платона или пересказывая своими словами, как основной источник, “исторический” документ, тезис для доказательства или дальнейших построений. Приводит его и Мережковский: в первых трех главах первой части книги он цитирует сначала “Тимея”, а затем “Крития”. Для него Атлантида в период благоденствия – образ идеального государства, рай на земле, Эдем, где царит «“Веянье соленой свежести”, сквозь все благовоныя райских долин и теплые смолы горных лесов» [5. С. 251].

Мережковскому была близка идея избранного человечества. Но конец Атлантиды для русского писателя имеет все же более христианское обоснование: для него причина гибели атлантов – их гордыня, цитируя Достоевского, он пишет: «Нубгис – гордыня титанов, больше гордости человеческой. “Человек возвеличится духом, божеской, сатанической гордости, и явится Человекобог” (Достоевский)» [Там же]. Утопия оборачивается антиутопией: “В Атлантиде мирный коммунизм превратился в военный”, “кончился мир, началась война” [5. С. 260].

Богочеловечество, которое не удается, оборачивается бесчеловечеством, – излюбленный мотив Мережковского. В сюжете его художественных произведений это всегда – кульминация. Практически все правители в его исторических романах стремятся создать идеальное государство, устроить Царство Божье на земле. Римский император мечтает установить справедливость, требуя добродетели от жрецов (“Юлиан Отступник”); итальянский герцог пытается возродить “Золотой век” (“Леонардо да Винчи”); русский царь мечтает о Петербурге-Парадизе, начинает реформировать страну (“Петр и Алексей”). Мечта другого царя – “о грядущем Иерусалиме”, “Царстве Божьем на земле”, но и его

противники-декабристы также строят проекты идеального государства, “Града Грядущего” (“Александр Первый”). Египетский фараон стремится к вечному миру и справедливости, создает прекрасный город Ахетатон, “град Божий”, “Царство Божье на земле” (“Мессия”). В “Иисусе Неизвестном” эта идея Мережковского занимает центральное место. В поздних биографиях “людей Духа” исторические герои Мережковского также пытаются основать Царство Божье на земле. Пути к нему – мировое владычество, вечный мир (“Наполеон”, “Жанна д’Арк”), устройство Вселенской Церкви (“Павел. Августин”, “Франциск Ассизский”, трилогия “Реформаторы”, “Испанские мистики”), творчество (“Данте”).

Второй важнейший мотив писателя – богочеловек или человекобог, герой, “существо реальнейшее”. В Атлантиде – это старший царь Атлас. Он имеет божественное происхождение. Атланты – “это не совсем люди, а существа иной породы, как бы обитатели другой планеты – Марса или Сатурна” [5. С. 246]. Атлас сравнивается с Прометеем и вавилонским водяным богом Эа. Мережковский, со ссылкой на Эд. Герхарда, дает следующее толкование имени царя: «tlao – корень имени Atlas – значит “терплю”, “страдаю”, – может быть и всей мистерии корень» [Там же. С. 250]. Через это имя к нему возводится вся череда умирающих – воскресающих богов древних мифологий: “Боги мистерий, страдающие, умирающие вместе со своими мирами – Озирис, Таммуз, Адонис, Аттис, Митра, Дионис на Востоке, Кветцалькоатль на Западе – в обеих половинах расколовшегося мира, – суть боги этой перво-религии – горы затонувшего материка, Атлантиды” [5. С. 356]. Собственно, мифы об этих богах и рассматриваются в “Тайне Трех” и “Тайне Запада”.

Три тайна, связанные с умирающим – воскресающим богом, писатель считает атлантическими: крещение, причастие и богосупружество. Свет Атлантиды – “Свет конца, как бы потопный”, но и крещенский – «крещение, “погружение” в воду, есть древнейшее, потопное, Атлантидное таинство», потому что “мир из потопной пучины вышел чистым, как никогда” [5. С. 408, 409].

Солнцепоклонничество как религию Атлантиды описал еще атлантолог И. Донелли, этот мотив достаточно силен и у Р. Дэвиня, вторая часть книги которого называется “Держава солнца” [7]. Связь солнца и Атлантиды прямо обозначена Мережковским в биографии “Наполеон”, который есть «существо не нашей породы, тварь иного творения – “человек из Атлантиды» [8]. Солнце – один из постоянных символов Мережковского, оно может быть связано с “кровью”, оборачиваться “ночным” и “подводным”, воплощая излюбленный дуализм писателя. Это его собственная, самобытная трактовка образа, столь часто используемого русскими писателями в начале века [9].

Все атлантологи, естественно, рассматривают легенды о потопе, как воспоминание народов о некотором давно произошедшем факте.

Вышедшая из воды и в воду возвратившаяся Атлантида необычайно привлекала Мережковского: “Дух Воды ужаснул Платона. Атласом – духом Атлантики – рождена Атлантида” [5. С. 251]. Вторая стихия, сопряженная с Атлантидой, – огонь: “Вечер Атлантиды гаснет кровавым пожаром на западе” [Там же. С. 409].

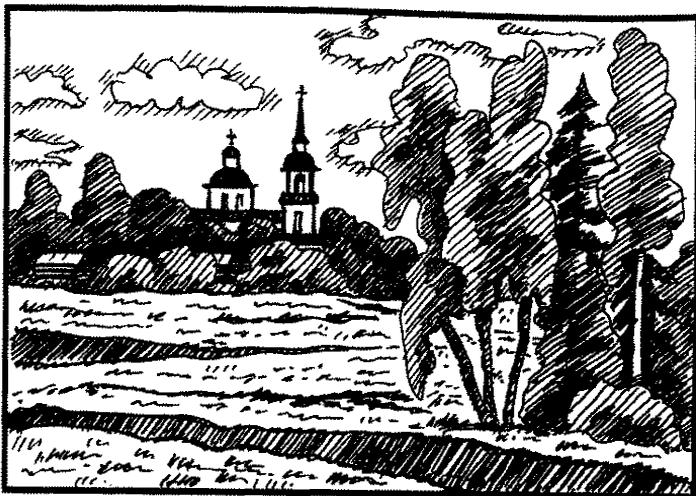
То есть Атлантида в целом есть олицетворение водно-огненной стихии, ее торжества: “два бываюи конца – водный и огненный, потоп и пожар” [5. С. 266]. В заключительных главах дореволюционных романов Мережковского часто описывается буря, как знак перехода из одного “завета”, “эона” истории – в другой: в “Юлиане Отступнике”: “Побежали тени от запада, и море потемнело. Туча росла. Доносились глухо первые раскаты грома. Надвигалась ночь и буря”. В романе “Петр и Алексей” читаем: “Солнце зашло, наступил мрак, и завывла буря”.

В эмигрантских произведениях Мережковский делает акцент на огненной стихии (в египетской дилогии, “Жанне д’Арк”) как знамении завета Духа-Матери (Огня).

В контексте религиозно-философской системы Мережковского Атлантида прочитывается как богочеловечество, которое оборачивается бесчеловечеством (дуализм лежит в основе мировоззрения писателя), умирающий – воскресающий бог соединяет язычество и христианство, религия утверждает завет Духа-Матери (искомый Третий Завет). И если Европа избегнет участи Атлантиды, она сможет войти в этот Третий Завет.

Литература

1. Мережковский Д.С. Смерть богов. Юлиан Отступник. М., 1993. С. 105.
2. Геродот. История. М., 2006. С. 320.
3. Мережковский Д.С. Собр. соч. В 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 331.
4. Воронин А. Романтика поиска и атлантологи-романтики // Дэвинь Р., Берлиц Ч. В поисках пропавшего континента. М., 2004. С. 4.
5. Мережковский Д.С. Тайна Трех. М., 1999.
6. Платон. Соч.: В 3 т. М., 1971. Т. 3. Ч.1. С. 560.
7. Донелли. И. Атлантида: мир до потопа. Самара. 1998; Дэвинь Р., Берлиц Ч. В поисках пропавшего континента. М., 2004. С. 133.
8. Мережковский Д.С. Данте. Наполеон. М., 2000. С. 300.
9. Долгополов Л.К. Максим Горький и проблема “детей солнца” (1900-е годы) // Долгополов Л.К. На рубеже веков. М., 1985.



Колокольный звон в поэзии Ивана Бунина

© Т. А. ПАВЛЮЧЕНКОВА,
кандидат филологических наук

...Есть вещи, которые прекрасны сами по себе, но более всего потому, что они заставляют нас сильнее чувствовать жизнь. Красота природы, песня, музыка, колокола.

И.А. Бунин

В поэтическом мире И.А. Бунина звучат разные голоса. Звон церковного колокола как “постоянную звуковую деталь” уже отметили исследователи бунинской прозы [1]. Но нередко колокольный звон “звучит” и в его поэзии.

Прежде всего в стихотворениях Бунина слово *колокол* используется в прямом номинативном значении: “С башни старого костела *Колокол зовет*” [2]. (Курсив здесь и далее наш. – Т.П.). Та же лексема может употребляться в значении “звуки колокола” – регулярный метонимический перенос: “...Все названия музыкальных инструментов ... могут обозначать и самих себя и, метонимически, издаваемый звук” [3]. У Бунина: “Так на заре в степи широкой *Слышнее колокол* вдали, Спокойный, вещей и далекий От мелких горестей земли” (109). Колокол, конечно, не является в строгом смысле слова музыкальным инструмен-

том, но метонимический перенос здесь, думается, явный: слышнее звуки колокола.

Колокольный звон – часть общего эмоционального фона лирических зарисовок, колокол в бунинских стихах *возвещает, занывает, звенит, зовет, перекликается, плачет, поет, ударяет*, все это он делает *нежно, уныло, грустно, спокойно...* “Лишь только колокол вечерний с берегов *Перекликается, звеня и занывая*, С могильной стражей белеющих крестов” (71).

Для обозначения колоколов и их звучания может употребляться слово *медь*: “Костел-маяк, примета мореходу <...> Одни стрижи <...> Скользят в пролетах башни и порою Чуть слышно будят *медь*” (201). Подобное употребление демонстрирует один из бунинских приемов сгущения смысла, к которым любит прибегать автор особенно в поэзии. В контексте с *костел-маяк* слово *медь* может быть осознаваемо как “медные колокола”: стрижи задевают, толкают – *будят* медные колокола. Однако для того, чтобы это обнаружилось, колокола должны хоть и слабо (*чуть*), но звучать. В словарях есть и такое значение слова *медь* – “Звонкий, низкий, отчетливый звук. Слушать м. колоколов” [4].

Бунин любит *вечерний колокольный звон* (89), звон к вечерне: “Звон к вечерне из деревни Долетает тихо” (55). Поэт использует словосочетание *колокольный гул, перезвон, голос, глас, зов*: “Когда метель, кружась, заводит На колокольных *перезвон*, – Как жутко сердце замирает! Как заунывно в этот час, Сквозь вопли бури, долетает Колоколов невнятный *глас!*” (65); “Утром слышу колокол: и звонко И певуче, но не к нам взывает Этот чистый одинокий *голос*, Голос давней жизни, от которой Только красота одна осталась” (280); “Колоколов средневековый Певучий *зов*, печаль времен!” (386).

Звуки колокола для Бунина – сакральная связь временного и вечно-го, прошлого и настоящего в изображаемой действительности. Особенно “доказательными” выглядят лексемы *голос, глас, зов*. В текстах Ф.И. Тютчева такого рода слова обычно появлялись при изображении звуков природы (*голос ветра, глас бури* и т.п.), являясь средством ее одушевления, олицетворения [5]. Опираясь на те же лексемы и используя тот же прием, Бунин одушевляет колокол.

Колокольный звон сравнивается поэтом также с *серебряным пеннелем* (синестетическая характеристика): “Льетса, как *серебряное пенне*, Звон костела, славя воскресенье...” (93). Обращается он к довольно неожиданному перифрастическому обозначению звуков колокола: “*думы черных башен*” (104).

Об особом отношении поэта к колокольному звону говорит одно из его дневниковых высказываний: “Поет колокол St. Denis. Какое очарование! Голос давний, древний, а ведь это главное: связующий нас с прошлым. И на древние русские похож!” [6]. Колокола “чужого” собора

напоминают поэту о родине. Колокольный звон был для Бунина своеобразным звучащим символом России.

Приведем слова митрополита Антония (Сурожского) о том, для чего предназначен звук колокола: “И вот когда мы освящаем колокол, мы... просим..., чтобы звук его дошел до человеческой души и чтобы эта душа проснулась” [7]. С душой Бунина, как видим, это, несомненно, произошло. Бунинское восприятие колокольного звона еще раз обнаруживает глубинные связи его творчества с основами национальной культуры, колокола и их звон рассматриваются и современными исследователями как культурные символы славянской традиционной картины мира [8].

Литература

1. Карпов И.П. Проза Ивана Бунина. М., 1999. С. 224.
2. Бунин И.А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1987. Т. 1. С. 51. Далее указ. только страницы в круглых скобках.
3. Падучева Е.В. Парадигма регулярной многозначности глаголов звука // Вопросы языкознания. 1998. № 5. С. 11.
4. Современный толковый словарь русского языка. СПб., 2005. С. 340.
5. Везерова М.Н. Экспрессия лексем звучания в идиостилиях Тютчева, Фета, Баратынского, Языкова, Полонского // Художественная речь: общее и индивидуальное. Куйбышев, 1988. С. 20.
6. Бунин И.А. Дневники // Указ. собр. соч. Т. 6. С. 441.
7. Митрополит Антоний (Сурожский). Человек перед Богом. М., 2000. С. 259.
8. Агапкина Т.А. Вещь, образ, символ: колокола и колокольный звон в традиционной культуре славян // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян (Отв. ред. С.М. Тарасова). М., 1999. С. 210–282.

Мир животный в “Москве” А. Белого

© Я.А. ШУЛОВА,

кандидат филологических наук

Грандиозный художественный эксперимент А. Белого – насыщение словесной ткани *образами природы* – распространялся и на фауну, которая представлена в “Москве” гораздо шире, чем “мир растительный”.

Выделим несколько наиболее характерных образов животных, упоминаемых в романах писателя, вошедших в трилогию. В схватке Мандро с Коробкиным, схватке “орангутанга с гиббоном”, мужественный и неподкупный ученый восклицает: “Живем, говоря рационально, мы низменной жизнью горилл, павианов, гиббонов”. “Грибиков видел: из двери профессорской вышла, шатаясь и горбясь, горилла, утратившая человеческий образ, коричневой кровью пропачканная ...”.

Оскорбительная кличка Друа-Домардэна – “грязная обезьяна” символизирует похоть, низменность побуждений мнимого парижского публициста. “Виноват: – говорю, – с павианом мандрил”, – ёрничая и кривляясь, заявляет он о себе.

Мандро – хищный зверь: “Для тех же, с которыми дружбу воевал, был он пагубою, нападая на сеятелей справедливости, чтоб забодать, растоптать и тащить в невыдирные чащи”. За тростниковой занавеской “Мандро залегал, как тигр в камышах”. Дома он облачается “в халат леопардовый”, преображаясь в хищника: “Эдуард Эдуардович крался в тенях, рысьи взоры бросая”.

В “Масках” мотив леопарда заостряется до логического предела: в персонажах хищное начало полностью вытесняет человеческое: у Лили Ромуальдовны фон-Клакенклипс, разыгрывающей истинно русскую патриотку, “взгляд леопарда”.

Главка, в которой рассказано, как офицер контрразведки бросается на Леонору Леоновну, чтобы вынудить ее признать в элегантно парижском публицисте родного отца, называется “Как прыжком леопардовым – в дверь”.

Персонажи “Масок” – свирепые хищники, что подчеркивается их фамилиями, именами и отчествами: Леонора Леоновна, Лёва Леойцев, Домна Львовна.

Еще один важный фаунистический мотив – мотив человека-быка. В портрете Эдуарда Эдуардовича Белый выделяет символическую деталь – две седые пряди, схожие с серебряными рогами: “в ту ночь поседел двумя прядями: засеребрился рогами”; “боднул отчетливо вычерченными серебристыми прядями”; “а он забродил за стеной, как в мрач-

неющей чаще, – таким сребророгим, насупленным туром”. Сходство с быком нагнетается: в темноте Мандро проносится, наклонив голову, “как бык обезумевший”, “как Минотавр, – с диким мыком: бодаться... с козочкой, с нею”. Козочка – дочь Лизаша.

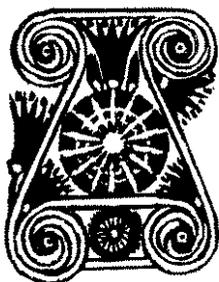
Символика жестокости и индивидуализма разработана в образах, несущих мотив волка. В облике элегантного барина проглядывает хищник: “Мандро – долгозубый”; у него от ужаса “заплясала по-волчьи челюсть”. Законы волчьей стаи Белый распространяет на домашний быт и социум: “мы по жизни проходим волками, и жизнь есть волковня (пора бы, пора ее – к черту!)”.

Белый создает образы-гибриды хищных зверей: “он глядел волколисом”. “Волколис” – хищник, притворщик, оборотень. Мандро – “псеглавец”, исключенный из человеческого общества. Белый имел в виду собакоголового павиана, продолжая мотив осуждения первобытной дикости: “с павианьим прыжком неожиданно он оказался вплотную...”. Собакоголовый павиан – inferнальное существо в рассказе Н. С. Гумилева “Лесной дьявол”. В “Масках” упоминается псеглавец – один из злодеев, утративший человеческий облик: “С третьего места, оскалившись, лаяло: песьеголовое туловище ...”. Гибридный образ – черта поэтики экспрессионизма.

Анималистические образы – яркая характеристика городского пейзажа “большой деревни”. По Москве бегают одичавшие собаки, во дворах вольготно живет свиньям, козам, курам. “Там около свалки двушерстая психа, подфиливши хвост, улезала в репье – с жесткой костью; и нес позавидовал издали ей – мухин сын...”; “Свинья, задрав визжалое рыло, там чвакала в мякоти”... Но прекрасен полевой пейзаж за пределами Москвы: “Из лазоревых далей навстречу им золотохохлый бежал жеребенок”.

В чертах лица, мимике, взгляде, жестах, позах, одежде персонажей А. Белый резко акцентирует сходство с представителями “мира животного”, обнаруживает скрытое родство человека с ними: “испуганным кроликом хлопнула глазками”; “ланьим движеньем взлетев с подоконника”; “И беличье что-то в ней дернулось”; “и две морщины, как рожки, из лобика выросли, забодались”; “как барбос, защищающий дом свой от вора”; “ежик – колючий, очкастый и вскидчивый”. Нередко такие образы приобретают символическое звучание.

Вологда



“Самовитое слово” Бориса Пастернака

© В. В. НИКУЛЬЦЕВА,
кандидат филологических наук

Поэты Серебряного века стремились к изысканным стилистическим находкам, и каждый создавал свою неповторимую систему, характерными чертами которой были так называемые “погрешности”, отступления от нормы, “поэтические вольности”, возникшие еще в XVIII веке, а во времена Пушкина преобразованные в стилистический прием [1]. На границе нормы и ошибки балансировал и Б. Пастернак, создав своеобразную систему нарушений в словоупотреблении и словотворчестве [2].

Анализируя отступления от нормы в языке поэзии Б. Пастернака, Л.В. Кнорина отмечает, что “балансирование в области неустоявшейся нормы является отличительной чертой именно его творчества” [3. С. 134]. “Все неологизмы Пастернака также никогда не отстоят далеко от того, что у всех на слуху. Читатель скорее всего пропустит такое пограничное образование или в крайнем случае усомнится, есть ли такое слово. В сущности, все эти образования и нельзя назвать неологизмами – про каждое из них кажется, что если его нет в словарях, то это – случайность” [Там же. С. 133].

Действительно, многие неологизмы поэта (их около 180 единиц) построены по установленным в языке моделям с использованием традиционного “строительного материала”: суффиксов, приставок, постфиксов и т.д. Эти слова обладают прозрачной словообразовательной структурой и семантикой, вполне понятны как в контексте, так и вне его. Однако в системе словотворчества Б. Пастернака особо выделяются те новообразования, восприятие которых затруднительно для читателя. Подобные индивидуально-авторские лексические единицы и составляют то словообразовательное поле, которое является камнем преткновения даже для исследователя-филолога.

В это поле входят неологизмы-омонимы, слова, произведенные от диалектизмов, архаизмов и заимствований, семантические неологизмы и производные от имен собственных. Оригинальные семантические ребусы представляют собой тексты, построенные на основе градации неологизмов либо синтеза новообразованных слов с устаревшими и областными словами. Проиллюстрируем эти явления примерами.

В словообразовательной палитре Б. Пастернака выделяется группа неологизмов, омонимичных диалектным и устаревшим словам, толкования которых мы находим в Словаре В.И. Даля [4]: *верхотá* “высь” (редакция стихотворения “Любка”, 1927), ср. *верхота* “сбир.: жители верховных мест” [I, 453]; *обводи́ны* “круги под глазами, подтёки” (“Весна”, 1944), ср. *обводи́ны* “пск.: заборник; обзаведенье чего-либо” [II, 1476]; *бзор* “озорство, бодрствование” (“На волю, на волю, на волю!..”, 1913?), ср. *озо́р* “действие по глаголу *озреть* (осмотреться кругом); ряз.: тайный доносчик; дозор, обход; сиб.: цепная собака; кругозор, горизонт” [II, 1476]; *очуми́в* “сделав чумными, сумасшедшими” (“Распад”, 1917), ср. *очуми́ть* “заразить чумою” [II, 2022] и др.

В поэзии Б. Пастернака можно обнаружить и семантические неологизмы, возникшие в результате перекрещивания лексических значений (метафоры и метонимии). К примеру, существительное *крепь*, обладающее значениями “сооружение в шахте; труднопроходимое место; крепостная зависимость” [5], а также вышедшим из употребления значением “крепость” [II, 530], в пастернаковском контексте приобретает иной смысл – “крепкий, сильный запах”:

Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались,
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

(“После дождя”, 1915, 1928)

Существительному *сонь* в общеязыковом употреблении свойственно значение “сонное, сонливое состояние” [5], у Б. Пастернака оно получает значение названия качества (“глухота, усыпление, отсутствие бодрости”):

Это раковины ли сказанье,
Или слуха покорная сонь,
Замечтавшись, слагает пыланье
С камелька изразцовый огонь.

(“Зима”, 1913)

Общеязыковое значение существительного *таль* – “оттепель” [IV, 720], не реализовано в стихотворении Б. Пастернака “Весна” (1914). Скорее, ему присуще контекстуальное значение “таялая вода, бегущие

ручьи”, возникшее в результате обратного метонимического переноса (“явление, свойственное данному времени, состоянию”; ср. с примером прямой метонимии: *гололедица* “тонкая наледь на земле, предметах и т.д. после оттепели” – “время, когда происходит такое явление”):

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам ?
Словно в яблоках рысак?

Деепричастие *крыля* от окказионального глагола *крылѝть* “лететь на крыльях; парить” семантически производно от устаревшего глагола *крылѝть* “окрылять, снабжать крыльями” [II, 526]. Данный семантический неологизм с тем же и другими значениями частотен у Игоря-Северянина, что позволяет сделать предположение о заимствованном характере новообразования в системе словотворчества Б. Пастернака. Сравним:

Всѣ сперлось в беспорядке за фортами, и земля,
Ничего не боясь, ни о чем не заботясь,
Парит растрѣпой по ветру, как бы пошлет, крыля.

(Б. Пастернак. “Лейтенант Шмидт”, 1926–1927)

Теперь <...>
Я перейду к весне священной,
Крыля душою вдохновенной,
К вам, пробужденные поля.

(Игорь-Северянин. “Роса оранжевого часа”, 1923)

Всю ночь мы катались весело,
Друг к другу сердца крыля.

(Игорь-Северянин. “Лучезарочка”, 1922)

Крыля
На белое пятно батиста,
Летит бесшумный нетопырь,
И от его движений свиста
Ты вздрагиваешь.

(Игорь-Северянин. “На барбарисовом закате”, 1923)

Реже неологизмы Б. Пастернака образуются от основ диалектизмов и архаизмов. Например, существительное *зоряня* (с чередующейся гласной в корне *-зор-/-зар-*) может быть произведено от псковского диалектного глагола *заряниться* “гулять, ходить, гостить до зари, до рассвету” [II, 1568] или от народно-поэтического прилагательного *зарянский* (*По заре зорянской...* – в загадке о солнце [II, 1567]). В стихо-

творении “Мельхиор” (1914) реализуется значение существительного, близкое к значению словосочетания *красная девица*; судя по всему, *зоряня* – это северянка, прекрасная, как заря:

Как под стены зоряни зарытой,
За окоп, под босой бастион
Волокиты мосты – волокиту
Собирают в дорожный погон.

Существительное *компотник* идентично по значению устаревшему слову *компотница* (“кухонная посуда для варки или столовая посуда для подачи компота, взварница” [II, 376]). В поэме “Спекторский” (1925–1930) неологизм введен в стилистический компаратив. Сравнение с посудой для компота удачно отражает всю нелепость и многоликость советской коммуналки:

В квартиру нашу были, как в компотник,
Набуханы продукты разных сфер:
Швея, студент, ответственный работник,
Певвица и смирившийся эсер.

Некоторые неологизмы построены на базе собственных имен существительных, например, прилагательное *Агитпрофсоюзский* произведено от аббревиатуры *Агитпрофсоюз* – “агитационный профессиональный союз железнодорожников” (“Высокая болезнь”, 1923, 1928), а прилагательное *Трапезундский* – от существительного *Трапезунд* (Трабзон), город, крупный торговый порт в Турции (“Оригинальная”, 1918). Устарели и вычурная аббревиатура нэповского периода, и название турецкого города, поэтому для носителей современного русского языка затруднительно восприятие текстов с подобными образованиями.

Загадку представляют и те слова, что произведены от иноязычных основ. Так, в процессе создания глагола *креше(у)ть* Б. Пастернак мог использовать в качестве исходного строительного материала как усеченную основу итальянского наречия *крешендо* (*крещендо*), так и полную основу английских существительных *crush* “раздавливание, дробление; давка”, *crash I* “грохот, треск; авария, крушение”, *crash II* “суровое полотно, холст” [6]. Исходя из того, что производящие основы могут быть разными, неологизм *крешесть* (или *крешить*) в стихотворении “Перелет” (1922 или 1923) облакает в свою графическую форму либо значение “выравнивать, ревя всё громче”, либо значение “делать рельефным, дробить”, либо значение “делать подобным холсту; разглаживать, полировать”. Все три смысла потенциально поддержаны контекстом. Кроме того, может существовать еще четвертая интерпретация новообразования: глагол мог быть произведен от исконного существительного *крех* “стоны, хриплый крик” [II, 494].

А над обрывом, стих, твоя опешит
Зарвавшаяся страстность муравья,
Когда поймешь, чем море отмель крешет,
Поскальзываясь, шаркая, ревя.

На игре слов, порождающей двоякое толкование текста, основан и метод введения в художественный текст существительного *триангл* (от латинского *triangulum* “треугольник”):

И когда твой блуждающий ангел
Испытает причалов напор,
Журавлями налажен, триангл
Отзвенит за тревогою хорд.

(“Лирический простор”, 1913)

В качестве производящего слова Б. Пастернак мог взять как латинское слово без окончания, так и производные от него существительные *триангуляция* “съемка местности по тригонометрии” [IV, 840] и *триангулятор* “название ряда приборов, употребляемых в геодезических работах” [5]. В первом случае толкование текста будет связано с образом улетающих клином журавлей, а во втором варианте трактовки метафизические и религиозные образы заслоняют собой реальные: трехголосное священное пение (образ Святой Троицы) отведет все тревоги лирического героя (образ альта), утолит все его земные печали.

Некоторые тексты благодаря нанизыванию неологизмов представляют собой настоящие ребусы. Возьмем, к примеру, стихотворение “Цыгане” (1914):

Жародею Жогу, соподвижцу
Твоего девичья младежа,
Дево, дево, растомленной мышцей
Ты отдашься, долони сложа.

В этом стихотворении на первый план выступает интерес автора к свободоллюбию цыган – отличительной черте, проявляющейся во всех сферах жизнедеятельности этого народа, в том числе и в любви.

Жародей – это, вероятно, молодой цыган, способный зажечь кровь в женщине своей национальности. Далее сложнее. Как “перевести” сочетание *соподвижец девичья младежа*? Первый неологизм в этой перифразе создан в духе церковнославянских и древнерусских слов, которыми насыщен текст стихотворения (вокатив *дево*, форма множественного числа существительного с полногласием *долони*, неполногласие в существительном *град-Загреб*, исконно русское слово *смерд*, славянизм *твердь* и т.д.). Существительное *младеж* построено по типу слов *вертеж*, *крепеж* и, судя по всему, относится к *nomina abstracta*. Соединение

этих слов должно обозначать примерно следующее: “Молодой здоровый цыган, ровесник цыганки”.

Дальнейший текст стихотворения представляет собой сплошную метафору, в которой, несмотря на кажущуюся “самовитость” лексического строя, при внимательном изучении мы найдем только один неологизм:

Жглом полуд пьяна напропалую,
Запахнешься ль подлою полкой,
Коли он в падучей поцелуя
Сбил сорочку солнцевой скулой.

Этот неологизм – *солнцевый* (“загорелый”), который похож на узальное прилагательное *солнцев* (“принадлежащий солнцу”), но в окружении специальных и диалектных слов он практически незаметен.

Подобные сложности в восприятии текста возникают и при прочтении стихотворения “Мельхиор” (1914). Рассмотрим такой отрывок:

Над канавой иззвеженной сиво
Столбенеют в тускле берега,
Оттого что мосты без отзыву
Водопьянью над згой бочага,

Но, курчавой крушася карелой,
По берёсте дворцовой раздран,
Обольется и кремль обгорелый
Теплой смирной стоячих румян.

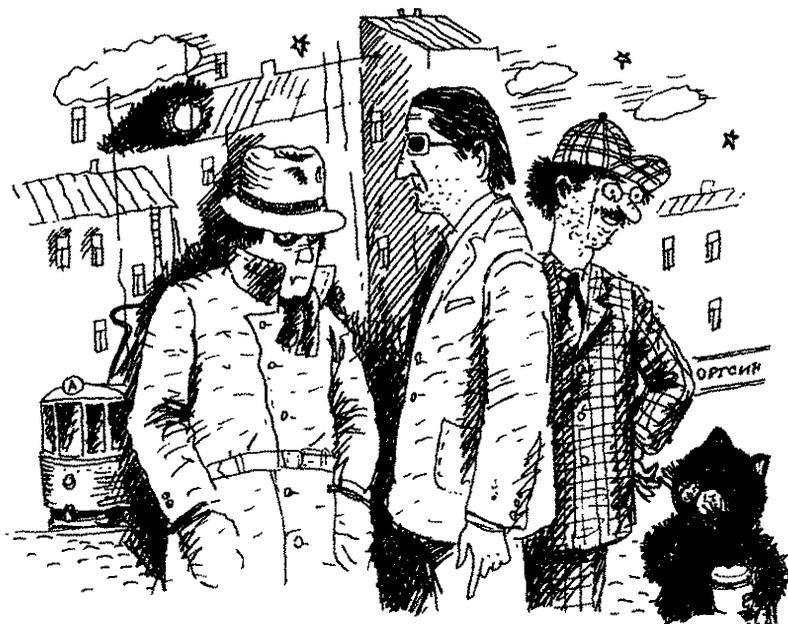
Здесь встречается четыре неологизма, без раскрытия значения которых невозможна дальнейшая интерпретация текста: *иззвеженный*, *тусклó*, *водопьянь*, *карéла*. Новообразование *иззвеженный* – причастие от гипотетического глагола **иззвездить* (чередование *зд/жд/ж*) в значении “блестящий, отражающий блеск звезд”; существительное *тусклó* – омограф к наречию *тúскло*, который обладает значением “тусклый блеск”; неологизм *водопьянь*, вероятно, образован на базе прилагательного *водопьяный* (“шуточное: опившийся водою” [II, 541]); существительное *карéла* – семантический неологизм, возникший путем метонимического переноса на базе имени собственного *Карела* с переогласовкой *оа*; ср. *Карела*, *Корелия*. *Глухая карела*, *дикая карела* – отдаленные места Петрозаводского и Повенецкого уездов, населенные карелами (*олон.-петроз. Кул.*) [II, 412]. Карелой называется и местность (Карелия), и люди, проживающие в ней (карелы), и дерево, растущее в этой местности (карельская береза). Третье, контекстуальное, значение слова и проявляется в стихотворении Б. Пастернака.

После трактовки этих новообразований попробуем расшифровать и текст. Его “перевод” (вкуче с расшифровкой значений диалектизмов) звучит примерно таким образом: “Над серой канавой, блестящей тусклой водой, неподвижно стоят берега, потому что пьяные мосты качаются над дорогой омута (указывают дорогу в омут?), но, печальясь, как курчаваая карельская береза, станет теплым и красным (озарится солнечным светом) обгорелый кремль с дворцом из разорванной берёсты”.

Подобный прием “зашифровывания” текста помогает Б. Пастернаку создавать многоплановые образы, интригующие читателя непредсказуемостью своей интерпретации. Интересен и тот факт, что неологизмы поэта стоят в тесном окружении устаревших и областных слов, которые также помогают вуалировать, ретушировать новообразования. Все вместе эти языковые элементы создают “загадки и ребусы” поэтических произведений Б. Пастернака.

Литература

1. *Винокур Г.О.* Наследство XVIII в. в стихотворном языке Пушкина // *Винокур Г.О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
2. *Лотман Ю.М.* Стихотворения раннего Пастернака и некоторые вопросы структурного изучения текста // Труды по знаковым системам. 4. Тарту, 1969.
3. *Кнорина Л.В.* Грамматика и норма в поэтической речи (на материале поэзии Б.Л. Пастернака) // *Кнорина Л.В.* Грамматика, семантика, стилистика. М., 1996.
4. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. В тексте римской цифрой обозначен том, арабской – столбец.
5. Словарь русского языка: В 4 т. Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981–1984.
6. *Мюллер В.К.* Англо-русский словарь. М., 1991.



“Черт за селедками унес!”

О некоторых фразеологизмах у М.А. Булгакова

© О. С. ДЕРГИЛЁВА

В творчестве М.А. Булгакова отчетливо прослеживается интерес к демонологическим образам. Так, слово *черт* (*чертов*) встречается в его текстах в качестве составного элемента в пословицах, поговорках и фразеологизмах.

Особый интерес представляют фразеологизмы, с одной стороны, претерпевшие стилизацию под разговорную речь, с другой стороны, подвергшиеся индивидуально-авторскому преобразованию. Использование их обусловлено сатирической направленностью большинства произведений Булгакова, стремлением создать комическую ситуацию, иллюзию звучания живой речи с ее богатым и гибким интонированием.

Распространенным приемом преобразования фразеологизма является замена его компонента. Замена однокоренным словом радикально не меняет семантики оборота, но способна сделать речь автора и персонажей более эмоциональной, подчеркнуть негативное отношение к

происходящим событиям: “К чертовой мамаше бросаю и раненых, и контуженных” (Бег) (Курсив здесь и далее наш. – О.Д.); “Поди ты к чертовой маме! Он рвнует!” (Бег) [Ср.: к чертовой матери (бабушке)]. “Агроном допился тогда до чертей...” (Морфий) [Ср.: дойти до чертиков].

Наиболее яркое впечатление создается в результате замещения компонента словом (словами), появление которого является неожиданным, особенно если оно совершенно не связано с фразеологизмом никакими смысловыми отношениями, в таких случаях можно говорить о языковой игре: “А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан, Москва не так страшна, как ее малютки” (Записки на манжетах). В рассказе Н.С. Лескова “Зимний день” пословица не так страшен черт, как его малюют преобразовалось в не так страшен черт, как его малютки. У Булгакова продолжилась цепь преобразований, это привело к замене слова черт на Москва, при этом элементы оборота претерпели инверсию, что значительно усилило их экспрессивность.

Заменой глагола достигается усиление интенсивности действия, обозначаемого фразеологизмом: “Язык ни к черту! но занятно. Занятно, чтоб тебя черти разорвали...” (Театральный роман), “Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош...” (Собачье сердце) [Ср.: черт (черти) тебя (его, вас и т.д.) побрал (побрали)].

Булгаковым активно используется прием расширения компонентного состава устойчивого оборота. Это способ уточнения и усиления семантики, увеличения выразительного потенциала фразеологизма. В структуру оборота часто вводятся слова, являющиеся определением к именному компоненту. Так, в состав выражения ломать комедию автор ввел местоимение эту и прилагательное чертову, что усилило презрительное отношение говорящего к происходящим событиям: “Полгода он ломал эту чертову комедию с украинизацией...” (Белая гвардия), “Если бы ваш гетман, вместо того, чтобы ломать эту чертову комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов...” (Дни Турбиных).

Развитие образной структуры фразеологизма путем внедрения в нее дополнительных элементов увеличивает семантическую спаянность оборота с контекстом: “Какое счастье, что их черт за селедками унес!” (Иван Васильевич). В связи с внедрением в состав фразеологизма предложно-падежного сочетания за селедками оборот приобрел конкретное значение: “известно, ясно зачем кто-либо ушел” [Ср.: черт несет (занес, унес) – “неизвестно, с какой целью, зачем идет, едет и т.п. кто-либо за чем-либо”].

Подобный тип преобразования наблюдается и в следующих примерах: “Что за люди, прости господи! Днем голые на реке лежат, ночью

их *черти по лесу носят*” (Летняя песня). Оборот *черт носит* служит для выражения резкого недовольства тем, что кто-либо пропадает, ходит где-то, долго не появляется. “А, *черт их душу знает*. Я думаю, что это местные мужики, богоносцы Достоевские!” (Белая гвардия). Выражение *черт его (ее, их и т.п.) знает* имеет значение “совсем неизвестно, никто не знает”.

При таком введении дополнительного элемента фразеологизм может частично потерять свою самостоятельность и стать “строительным материалом” для всего высказывания в целом.

Менее распространен эллипсис фразеологизма – сокращение одного или нескольких его компонентов. Порой остается лишь один, который служит опорным элементом, позволяющим восстановить значение и структуру исходного оборота: “Уехал на *куличку* инспектировать Губотдел” (Похождения Чичикова), “Какие тут – у *черта* – ванны” (Записки юного врача. Полотенце с петухом). В этих примерах сокращению подвергаются части фразеологизма у *черта на куличках*, только в первом случае помимо эллипсиса наблюдается также формально-грамматическое преобразование слова *кулички* (мн.ч. – ед.ч.). Часто подвергается эллипсису фразеологизм к *чертовой матери*: “Ведь думал – пропадем все... К *матери!*” (Белая гвардия), “А, к *матери*, штабную сволочь!” (Белая гвардия).

Достаточно редко используется способ контаминации, определяемый как особое объединение двух или более фразеологизмов в один новый оборот. Прием взаимодействия компонентов протекает как на семантическом, так и на синтаксическом уровне: “...сию минуту он головой вниз полетит к *чертовой матери в преисподнюю*” (Мастер и Маргарита). В данном примере наблюдается такая разновидность контаминации, как линейное соединение элементов: к *чертовой матери в преисподнюю* = к *чертовой матери* + как в *преисподней*.

“Я бросаю мужа, этот святой человек теперь *пьянствует как черт знает что...*” (Иван Васильевич). Линейному соединению с редукцией и заменой компонента однокоренным словом подверглись два фразеологических оборота: *пьян (пьяный) как свинья (как зюзя)* + *черт знает что* = *пьянствует как черт знает что*.

Наблюдения над преобразованными фразеологизмами показывают, что чаще применяется не один прием трансформации, а сочетание двух или более. Замена компонента устойчивого оборота и расширение его состава может привести к значительному обновлению и развитию образной структуры фразеологического единства: “Дело запуталось до того, что и *черт бы в нем никакого вкуса не отыскал*” (Похождения Чичикова); “...библиотека словно сгнула – *сам черт не нашел бы в нее хода*” (Московские стены) [Ср.: *сам черт ногу сломит*].

За рамками структурно-семантических преобразований остается такой стилистический прием, как фразеологическое развертывание,

представляющий собой высказывание, организованное как структура распространенного, осложненного простого или сложного предложения (и как более сложное синтаксическое построение: период, сложное синтаксическое целое, диалогическое единство). Это намеренное выявление внутренней формы фразеологизма “путем утраты устойчивости и употребления компонентов в роли свободных слов при общем образном тождестве фразеологического контекста и фразеологической единицы” (Халиков Н.В. Окказиональная фразеология: Дис. ...канд. филол. наук. М., 1997. С. 43). Фразеологическому развертыванию в пределах диалогического единства подвергается оборот *черт знает что такое*:

“...Нет, это *черт знает что такое*, черт, черт, черт! <...>

– Ты сейчас невольно сказал правду, – заговорила она, – *черт знает, что такое*, и *черт*, поверь мне, *все устроит!*” (Мастер и Маргарита).

Многочисленное употребление в языке писателя фразеологизмов с компонентами *черт/чертов* (на шесть томов приходится 660 употреблений без учета вариантов) можно считать специфической чертой идиостиля Булгакова.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА В СТИХАХ РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА

© Л. Л. БЕЛЬСКАЯ,
доктор филологических наук

Поэты часто признаются в любви к родному языку, но редко в своих стихах обсуждают лингвистические проблемы, считая это делом ученых: “А лингвисты перья очиняют, / новые законы сочиняют” (Б. Слуцкий). И все-таки в русской поэзии XX века мы иногда сталкиваемся с высказываниями авторов то об алфавите, то о неологизмах и архаизмах, то о глаголах и междометиях, то о синтаксическом строении речи.

Возможно, интерес к поэтической лингвистике впервые возник в творчестве футуристов с их идеей создания нового языка и особенно у В. Хлебникова, который в каждом звуке отыскивал определенный смысл и представлял историю человечества как смену букв: “Но Эль настало – Эр упало. Народ плывет на лодке лени, И порох боевой он заменяет плахой, А бурю – булкой...” (“Зангези”). Исследователь идиостиля Хлебникова В.П. Григорьев назвал его “первым поэтом-фантастом-интерлингвистом”, творившим систему “воображаемой филологии” [1]. А В. Маяковский отстаивал право поэта на деэстетизацию и неблагозвучие стиха: “Громоздите за звуком звук вы / и вперед, поя и свища. / Есть еще хорошие буквы: / Эр, / Ша, / Ща”.

Языковые эксперименты футуристов были надолго забыты в советской поэзии, которая гордилась своим служением государству, обществу, народу и избегала всяческого формализма, находившегося под запретом. Лишь когда повеяло “оттепелью”, изменилось отношение к литературе, и писатели вернулись “к ее пониманию как самодостаточной ценности” [2]. Именно тогда и возобновился интерес к “грамматике поэзии” (Р. Якобсон), хотя и слышались подчас заявления типа “стихов природа – не грамматика, а нутро” (А. Вознесенский).

Правда, в середине 20-х годов мы еще находим отзвуки формальных исканий у конструктивистов. В частности, И. Сельвинский в “Записках поэта” (1925–26) жаловался на свой “нищий словарь”, рассуждал о “провинциализмах” и “галлицизмах”, образовывал от прилагательного “изумительное слово” – “бронзовик” и менял предлоги *чрез* и *без* на аналогичные приставки – “безличен чрезвычайно”. Позднее, в 30–40-е годы, можно встретить редчайшие упоминания лингвистических понятий в стихах. Так, С. Кирсанов в стихотворении “Склонения” (1934), перечисляя падежи русского языка, шутливо предлагает ввести новые –

узнавательный, обнимательный, ревнительный и др.: “У меня их сто тысяч, а в грамматике только шесть”. С. Маршак, перечитывая словарь, выписывает из него фразеологизмы со словом *век*: “Век доживать. Бог сыну не дал веку. Век доедать, век заживать чужой” – и отмечает в них “укор, и гнев, и совесть”: “Нет, не словарь лежит передо мной, / А древняя рассыпанная повесть” (“Словарь”, 1946). В другом стихотворении поэт описывает радость и удивление ребенка, научившегося читать, когда он вдруг понимает, что у слов есть значения и “буквы созданы не зря”, а в конце сочувствует человеку, который прожил всю жизнь, но не может “значащее слово из пережитых горестей сложить” (“Когда, изведав трудности ученья...”, 1946).

После Маршака буквально “посыпались”, как из рога изобилия, стихи о словах – “Старые слова” К. Ваншенкина, “Словарь” А. Тарковского, “Слова” Д. Самойлова, “Смысл слов” Л. Мартынова, “Слово” Е. Винокурова, “Слова пустые лежат, не дышат...” М. Петровых, “Музыка моя, слова...” Ю. Левитанского, “Новые слова” и “Составные слова” Б. Слуцкого, “Энергия слова” И. Лиснянской, “Когда начинаешь спотыкаться на простейших словах...” Н. Горбаневской, “Усыновленные слова” Я. Козловского, «Живи, младенческое “вдруг”» Л. Миллер. А Юлий Даниэль в поэме “А в это время” (1968) обращается к лингвистам по поводу слова *концлагерь*, в котором следовало бы заменить *ублюдочный слог* “конц” на “конец”: “Ну, так что ж ты, Филолог? Давай отвечай, говори, / С кем словечко прижил, как помог ему влезть в словари?”.

Каким же видят стихотворцы поэтическое слово? Одни вслушиваются в его звучание, разгадывая значение звуков (“Медное слово звенит, как медаль”, похоже на медь и на мёд – Мартынов. “Намедни”); другие разбирают слово по составу (“Приставка. Окончание. Основа” – Винокуров) и выделяют в нем соединение разных корней (“слова, как эшелоны составные, но неразрывные” – Слуцкий); третьи, обнаруживая звуковые переклички между словами, ищут “тайный код” в их “внезапном сближенье” (*осень, синь, синица, синева, сень* – Левитанский); четвертые отмечают различные лексические пласты: омонимы (*опал, предлог, повод, переводить, точка, рой* – Козловский), варваризмы (“дабы не отстать от времени, как усердный школьник, я заночу в тетрадку слова: риелтор, лобстер, киллер, саммит...” – Б. Кенжеев), просторечия и сленг (“свежая, простонародная речь”: “Менты загвоздили снутри приходильник” – Ю. Морид. “Что откуда берется?”); пятые выделяют части речи: глаголы (бьется сердце, и армия, и знамя над головой – Р. Рождественский. “Глагол”), существительные («Предметы меня окружают. На “кто?” и “что?” отвечают» – С. Погреб. “Имена существительные”), местоимения (“россыпь мусорных местоимений”: *я, ты, он* – Б. Кенжеев). А В. Куприянов целое стихотворение “Грамматика суток” строит на перечислении частей речи:

Весомые существительные дня:

служба
забота
надежда

Ветреные наречия вечера:

тихо
тревожно
устало

Возвратные глаголы ночи:

встречаться
расставаться
забываться

Светлые предлоги утра:

до солнца
от сердца
сначала [3].

О “странной судьбе междометий” задумывается Борис Слуцкий: “Чу! – Пушкина, Жуковского, Некрасова, звучавшие когда-то, как труба”, и “увы!”, передававшее “горести, печали, злосчастия”, теперь устарили – “откочевали в давние года. Ушли и не вернутся никогда” (“Странная судьба междометий”). Со Слуцким спорит Александр Кушнер, припоминая причитания Медеи “Ай, ай, ай” и утверждая: “Нет ничего точнее междометий, Осмысленней и горестнее их”, «Кто мерил ночь неровными шагами, Тот знает цену тихому “увы!”» (“Ночной листвы тяжелое дыханье”). А Иосиф Бродский замечает, что “увы” – “мужская реплика, а может быть и возгласом вдовы” (“Горбунов и Горчаков”).

Не забыты союзы и предлоги. О “ткани соединительной” начальных и пишет Юнна Мориц (“Я – умственный, конечно, инвалид...”) и нагнетает предлог *в*, описывая те глубины и тайники, куда проваливается сознание (“Ступени сна”) и где “спасаются стихи” (“Поэзия жива свободой и любовью”): “соскальзанье в ничто, в никуда, в потаенную прорубь, в прорву, в пропасть, в провал, в промежуток надежды и взлета” и “в сугробе, в сапоге, во рту, в мозгу, в корыте ... в копне и в дряхлом пне”.

Другие предлоги выбирает для построения своих стихотворений А. Кушнер. Его восхищает предлог *за* и, взяв эпитафию из Лермонтова “За всё, за всё...”, он, наряду с цитатами – ахматовскими “за разоренный дом”, “за то, что Бог не спас”, мандельштамовской “за астму военных астр”, лермонтовской “за всё, чем я обманут в жизни был”, выдвигает и собственные *за* – от “свинцового века” и “тяжких бед громовых раскатов” до шкафчика, пахнущего глаженным бельем, т.е. трагическое перемешивается с будничным, в котором есть место и радости, и красоте (“За что? За ночь...”). Этот же прием используется и в “За дачным столиком, за столиком дощатым...” и в “Под шкафом, блюдечком, под ложечкой, под спудом”. Но в первом стихотворении навязчивый повтор

одного и того же слова обесмысливает его (“слова свое значение теряют, если их раз десять повторять”), а во втором дается более тридцати разнообразных словосочетаний с предлогом *под*: высоких и низких (“под солнцем вечности” и “под креслом”), “чужих” (“под небом Африки”, “под насыпью”) и авторских (“под гневным лозунгом”), фразеологизмов и окказионализмов (“под спудом”, “под руку”, “под страхом смерти” и “под мраком”, “под длинной скатертью столовой”). “Творительный предлог” как будто “сам ведет мотив” и движет сюжет – от “под шкафом” до “под Богом”.

С точки зрения предлогов *от* и *до* рассматривает русскую историю Сергей Александровский: “От варяга – до опричника, / От святого – до язычника (...) От и до вкусила Родина: / От свободного парения – / До свободного падения” (“От и до”, 1990).

Менее занимают стихотворцев область синтаксиса и правила пунктуации. Изредка мелькают замечания о запятых и точках (Л. Мартынов), о придаточных предложениях (Е. Аксельрод), о первой фразе в тексте (Е. Винокуров), о синтаксических заимствованиях (А. Кушнер), о паузе, которая “членит речевые отрезки” (Е. Ушакова). Вводным словам посвящает одноименное стихотворение Кушнер, подчеркивая, что они “мешают суть сберець и замедляют нашу речь”, но выражают наши эмоции. А такие слова, как *во-первых*, *во-вторых*, помогают не спеша собраться с мыслями (“Вводные слова”). Оригинально применяет лингвистические термины, сочетая их с омонимической игрой, В. Куприянов в “Предложении”, написанном верлибром и без знаков препинания (как и “Грамматика суток”):

Это предложение
хороший предлог
чтобы сделать тебе предложение

Я подлежащее
люблю сказуемое
тебя дополнение
самое прямое

Ты местоимение
где имеет место моя любовь
ты часть моей взволнованной речи
единственное число
на котором сошелся свет

Ты
мое второе лицо
посмотри же на меня с любовью
без тебя
на мне просто лица нет [4].

Пожалуй, чаще всего поэты обращаются к русскому алфавиту и его фонетическим особенностям. Об *эр* и *эль святого языка* говорит А. Тарковский (“Словарь”), Б. Кенжеев признается, что “опасно прикоснуться к его шипящим звукам” (“Послания”), с “юсом малым” сравнивает себя Д. Самойлов («Я устарел, как “малый юс”»), «в русских буквах “же” и “ша” живет размашисто душа» – полагает А. Кушнер (“Буквы”).

В советские времена Б. Слуцкий пытался непосредственно связать лингвистику с социальностью: избавившись от фиты и ижицы, “грамматика не обронила знак суровости и прямоты – Ъ”: “Знак был твердый у этого времени”. А в “Азбуке и логике” свои раздумья о современной несвободе автор воплощает в иносказательной форме, обвиняя алфавит в том, что он заставляет сказать вслед за А – Б, В, Г, и требует, чтобы азбука не прикидывалась логикой и судьбой, а вернулась в букварь: «свободен, волен я в своей судьбе / и самолично раза три и боле, / “А” сказанув, не выговорил “Б”». Не улавливается ли в этих рассуждениях Слуцкого о слишком больших “правах” алфавита полемический отклик на хлебниковские концепции?

О Хлебникове вспоминаешь, читая стихотворение Льва Лосева “Тринадцать русских”, рисующего мрачноватый “пейзаж русского языка” (Л. Пани): “кривые карлицы нашей кириллицы”, похожие на жуков буквы ж и х, “жуткая чащоба ц, ч, ш, щ”.

Встретишь в берлоге единоверца,
не разберешь – человек или зверь.
“Е-ё-ю-я”, изъясняется сердце,
и вырывается: “ъ, ы, ь”.

Но был в русской поэзии второй половины XX века подлинный наследник футуристов, сумевший обновить их традиции. Это Николай Моршен (псевдоним Николая Марченко), который эмигрировал в 40-е годы в США, где опубликовал несколько стихотворных сборников, в России же в 2000-м году тиражом 500 экземпляров вышел только один – “Пуще неволи” – за два года до смерти поэта. С чего начиналось его творчество? С неудовлетворенности “чужими словами” и поисков своих. Обратившись к словарям, он, в отличие от Маршака, их отвергает, так как слова в них стоят “в бесплодии пустом, псевдопорядке алфавитном”. А стихотворцу не нужны словесные стада в тысячи голов, достаточно табуна в сто слов, или даже тройки у крыльца, или жеребца и кобылицы: “Я их пущу на счастье в ночь / Пером по ожившей бумаге” (“У словарей”).

В своем поэтическом манифесте “К русской речи” Моршен советовал литераторам бежать от школярства, “от академий и мумий” – “к просвирням, на рынок, в стихи!” (намек на совет Пушкина и на “прибой рынка” Хлебникова): “Катись на простор просторечий, / Хилия в во-

ровские жаргоны!”. Заметим, что первый глагол просторечный, а второй жаргонный.

Слова можно черпать повсюду – в природе, среди людей, в космосе. Итогом напряженной работы поэта над словом стало множество неологизмов, наводнивших его стихи, обычно состоящих из двух корней (*смертоборчество*, *многослезие*) либо образованных путем добавления новых суффиксов к привычным словам (*омывалочка*, *расцветальница*). Он стремился отыскать в словах значимые ядра: в *растенье – тень*, в *томленье – лень*, в *разладе – ад*, в *лестнице – ниц*, в *небытье – быть*, в *любить – бить*. В фамилиях великих художников слышатся ему звукоподражания: *го-го* и *ге-ге* в *Гогене*, *ша-ша* и *га-га* в *Шагале*.

Изобретательная смысловая игра идет на всех уровнях стихотворной формы – с буквами и словами, с ритмами и рифмами, образами и фразами, строфической и графической, цитатами и стилем. Так, утверждает, что буква *я* в начальном слоге несет с собой скуку, обман и туман: “Рождение – яйцеклетка, жизнь – ярмо, любовь – яд, смерть – ящик”, зато *я* в последнем слоге означает счастье или обещанье: рождение – воля, жизнь – стихия, любовь – семья, смерть – вселенная (“Поиски счастья”). Слова то усекаются, то удлинняются, являя собой продолжительность самой жизни (“са-мо-под-дер-жи-ва-ю-ща-я-ся”), то разбиваются на отрезки, то складываются из разных корней (“зигзаговолонный ум”). В одних словах вычленяется общая часть: *розы – в неврозах, скле-розе, угрозе, прозе, розгах и папи-розах, купо-розе, воп-розах* (“Розовые очки”). А другие придумываются, объединенные общей буквой двух основ: *снеголье, снежногие, снеготика, снегафика, снежновости, снегвоздики, снеговая* (“Белым по белому”).

В зарождении поэтического слова Моршен выделяет три этапа: недоумь – слово – заумь. Второе формируется из первого “через наше озорство”, “недоумь горемычна”, а “заумь гореотуманна”, т.е. в ней и горе от ума, и туманность. Если Слово – Бог, то заумь – Сотворение мира: “Сезаумь, откройся!”, и в зауми скрывается Муза (“Недоумь-слово-заумь”).

Продолжая искания футуристов и одновременно отгалкиваясь от их зауми (“Я с дыр-бул-цилом шел в руках – и оказался в дураках”), Моршен относил модернизм начала XX века к “плюсquamперфекту” и отвергал “чистый формализм”. В его поэзии формальные эксперименты и словесные игры (шарады, акrostихи, палиндромы) обретают осмысленность и становятся содержательными. К тому же, сочиняя заумные словеса, он, в отличие от Хлебникова, обычно ироничен, высмеивая и передразнивая, к примеру, обывательское “квakanь” про “квaммунизм”, “квaсиков”, “преквaсный рабочий квaсс и квaсный флаг” (“Квa-с”). Порою на основе эксперимента поэт создает философские стихи о месте человека во вселенной, о пути художника в мире. Человек не царь природы, а часть ее: то важная, как в *особенности – особь*, в *уменьи –*

ум, а то всего “кусочек” корня, как *ба в забаве, ржа в державе*. Но всегда “в человечности есть вечность, а в счастье – часть, и в целом – цель” (“Часть и целое”). Муза подарена ему, русскому стихотворцу, как жар-птица, “за иванство мое, за дурацтво”. Эгоизм своеволия оборачивается в политике “нашевоьем – для веры, вашевоьем – чтоб править”, в любви – *твоевоьем*, а в искусстве – *моевоьем* (“Своеволие?”). То ли в шутку, то ли всерьез Моршен объявляет, что “открыл в рождении стиха кибернетический закон взаимотяготения слов”, и озаглавливает одно свое стихотворение “От астры к звездам”, обыгрывая слово *астра*: по-русски – цветок, по-латыни – звезда.

Можно сказать, что Н. Моршен в своих стихах интерпретирует различные слагаемые русского языка – от азбуки до фразы. Так, алфавит с первоначальными обозначениями букв предстает вместилищем вольной мысли и звучит как Божественный глагол, как речь Бога:

Аз Буки Ведаю,
Глаголю: Добро Есть!
Жива Земля Иже
Како Люди Мыслят –
Наш Он Покой,
Реку Слово Твердое.

(“Азбука демократии”)

Однако в советской России воцарилась не “азбука демократии”, ниспосланная русскому народу Богом, а “азбука коммунизма”, в которой служат жуткие аббревиатуры, стубившие миллионы людей: “А и Б / сидели в КГБ / В, Г, Д – / в НКВД, / буквы Е, Ж, З, И, К / отсиживали в ЧК, / Л, М, Н... и вплоть до У / посидели в ГПУ, / все от Ф до Ю, похоже, / сядут вскорости. Я тоже” (“Азбука коммунизма”).

Зато какая благодать царит в природе: “И утро так адамово, / Так первоазывательно”, “Как полиглот, костер стал языкат” и изъясняется с рекой на ее наречье, у деревьев свой язык – “от корней до разветвлений сложносочиненных”; летят искры, как “падучезвездные окончания”; травостой превращается в *травояг*, а водопад в *водокап* (“Райское утро”, “Языки пламени. Грамматика огня”, “Так да не так”). Так возникает “диалексика природы”.

А как определить с помощью *диалексики*, что такое жизнь? Если пользоваться только существительными, то “жизнь – это бред. Нет, лучше: клад. / Нет, лучше: вздох и дух. / Смерть – это рай. Нет, лучше: ад. / А может быть – лопух?” А если “убежать” к прилагательным, то жизнь “строптивно-нежная, желанная, / Голубовато-окаянная, / Неукротимая и вечная, / Бесцеремонно-бессердечная” (“Поэтический мутант”). Как видим, и в том, и в другом случае подбираются варианты синонимические и антонимические. И опять, “смеясь” и “всерьез”, по его

определению, поэт, с одной стороны, соглашается, что слова – “результат произвола”, а с другой, убежден, что в них скрывается тайна: “И не зря соловей начинается с соло, / А из нео – рождается необычайно” (“Стихи на случай”).

Экспериментирует поэт и с фразовым членением стихотворной речи. Тут и всевозможные переносы, вплоть до разделения слов (внима - / тельный, уви - / дит), и частые скобки для попутных замечаний: “я слог (нелепый и колючий, как всё, что ново и остро)”. Тут и обрыв фразы в конце стихотворения, даже на полуслове (“А лучше будет”, “Надеюсь лишь”, “Что она полу-”, “Заслонив кусты, листья, цве...”), и предложения “без концов и без начал”: “...вертая – дугообра...”, “...стая строчек беззабо...”.

Свое художественное кредо, свое восприятие поэзии Моршен наиболее емко выразил в следующем акростихе:

Себя являя в поиСках – чего?
Ловя преданья гоЛоса – какого?
Она вливает в хаОс волшебство,
Водой живой взвиВая вещество,
Она и хаос претвОряет в СЛОВО.

(“Вначале, в середине, в конце...”)

Если Николай Моршен дал примеры не только поэтической лингвистики, но и лингвистической поэзии, то другой его современник, тоже считавший, что “искусство поэзии требует слов”, провозгласил “диктат языка” над поэтом: “не язык является его инструментом, а он – средством языка”.

Продолжение следует

Литература

1. Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. В. Хлебников. М., 1983. С. 83, 88.
2. Баевский В.С. История русской поэзии. 1730–1980. Смоленск, 1994. С. 271.
3. Куприянов В. Жизнь идет. М., 1982. С. 76.
4. Куприянов В. Домашние задания. М., 1986. С. 78.

*Цфат,
Израиль*

ЕСТЬ ЛИ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В ИНТЕРНЕТЕ?

© П.В. МОРОСЛИН,
кандидат филологических наук

Одной из основных функций Интернета является организация общения людей. Активно развивается русскоязычная часть Интернета. Сотни тысяч пользователей регулярно отправляют и получают электронные письма, принимают участие в электронных форумах, чатах, являются участниками общения в блогах. Так, по данным электронной службы Яндекс, в Интернете существует более трех миллионов блогов на русском языке, каждый день создаются десятки тысяч блоговых сообщений.

Сферы коммуникации в Интернете, как показывают исследования (см. работы О.В. Дедовой, Г.Н. Трофимовой, Е.В. Какориной и др.), различаются по многим показателям, например, с точки зрения организации коммуникации, выделяются: однонаправленное получение или представление информации (веб-страница); двусторонний обмен информацией посредством электронной почты, чатов; полилогическое общение в тематических форумах нескольких участников; общение в системе блогов, в социальных сетях (например, odnoklassniki.ru); создание разного рода электронных, виртуальных сообществ (виртуальный клуб, виртуальная школа, класс и др.) [1, 2, 3].

При этом стратегии электронной коммуникации определяются различными целями: обсудить определенную тему; изложить суть проблемы; получить различные точки зрения на излагаемую информацию; объяснить свою позицию по поводу той или иной ситуации; выяснить интересы, индивидуально-психологические особенности и социальный статус аудитории; создавать новые или поддерживать уже налаженные контакты; провести время в общении с кем-либо; принять участие в игре; рекламировать тот или иной продукт, идею и т.д.

К сожалению, довольно часто электронные тексты, которые создаются в режиме реального времени, не соответствуют нормам современного русского литературного языка. Об этом уже много раз писали исследователи языка Интернета [1, 2, 4]. Одной из причин нарушения норм (синтаксических, словообразовательных, морфологических) является и то, что общение в форумах, блогах, чатах, хотя и происходит в письменной форме, но носит ярко выраженные особенности устной разговорной речи, создается в режиме реального времени, когда нет возможности вернуться к написанному, исправить ошибки и т.д. Необ-

ходимо также иметь в виду, что большинство участников общения в Интернете, согласно социологическим исследованиям, относится к возрастной группе от 16 до 27 лет. Это объясняет обилие молодежного жаргона, англицизмов, использование разного рода визуальных элементов для подчеркивания устной речи, которая отражается в электронной коммуникации.

В виртуальном общении часто действует принцип экономии усилий отправителя и получателя. Этим объясняется употребление лексических и графических сокращений. Электронные сообщения в чатах редко редактируются, неформальные взаимоотношения позволяют допускать ошибки в орфографии, неточности в структуре предложений, расставлять знаки препинания там, где хочется. Исследователями совершенно справедливо отмечено, что причинами нарушения норм часто бывает языковая игра, желание экспериментировать с языком. Как хорошо написал М.А. Кронгауз [4. С. 158]: “Катализатором современных языковых экспериментов стала в большей мере не социальная перестройка, а технологическая революция – появление Интернета”.

В последние годы появилось много работ, посвященных анализу общения в Интернете или так называемого компьютерного дискурса. Исследователями были описаны определенные закономерности, характерные для компьютерного общения [4, 5]. Некоторые психологи отмечают негативные тенденции электронной коммуникации: нивелирование личности, упрощение общения, снижение качества вербального восприятия и выражения, углубление индивидуализма, эффект разъединения личностей и др.

На первый взгляд, сообщения в Интернете никем не контролируются. На начальном этапе развития Интернета именно так и было. В настоящее время ситуация меняется. Ведутся попытки введения определенных норм, которые необходимо соблюдать в электронной коммуникации. Они касаются, прежде всего, негативных оценок, использования ненормативной лексики и др. В Интернете опубликованы своды правил общения в чате, правила создания и поддержки собственного сайта (часто касающиеся речевого этикета). Появляются рекомендации, правила речевого поведения в том или ином жанре электронной коммуникации. Это относится в первую очередь к таким формам электронного общения, как электронная почта, чаты, форумы, блоги. Причем, необходимо отметить, что, если электронная почта, чаты часто несут характерные особенности межличностного общения двух людей, которые в определенной степени мало поддаются регламентированию, то блоги и форумы скорее относятся к публичной речи, они рассчитаны на прочтение несколькими участниками общения. Именно поэтому они в большей степени нуждаются в определенном внешнем регулировании.

В английском языке получило распространение слово *netiquette*, которое обозначает правила речевого поведения в Интернете (соответ-

ствием в русском языке В. Губайловский считает слово *сетикет*): “Главное правило сетикета то же, что и в любом этикете: ведите себя так, чтобы вас было легко понять, чтобы вы не создавали проблем другим, чтобы не мешали нормальному диалогу. Ведите себя так, чтобы непреднамеренно не обидеть” [5]. В статье В. Губайловского сформулированы некоторые основные постулаты сетикета, относящиеся, в основном, к одному только виду электронного общения – к электронной почте.

1. На письма нужно отвечать. Как правило, время ответа на e-mail не должно превышать сутки. Если интервал больше и нет какого-то естественного объяснения (например, многие пользователи Сети не выходят онлайн в выходные дни, вам необходимо при ответе на письмо объяснить причины задержки).

2. Невежливо посылать письмо с уведомлением о получении. Это попросту означает, что вы не доверяете адресату, не считаете его человеком “сетикета”. Иногда на это приходится идти, но нужно помнить, что это не очень-то красиво.

3. Рекомендуются отвечать на письма с испорченной кодировкой, причем в этом случае лучше приколоть вложение, где текст будет написан в каком-то редакторе, так, чтобы ваш корреспондент сумел его прочесть. Обязательно нужно отвечать на письма, содержащие вложение: вы должны подтвердить, что вложение дошло и нормально открылось.

4. Получатель письма не должен прерывать диалог: его может прервать только отправитель – инициатор сеанса. Это одно из основных правил “сетикета” для электронной почты.

5. Грамотность – это вежливость Интернета. Проверку грамотности можно сделать автоматической, подключив встроенный контроль орфографии. Грамотный текст легче читать. Безграмотно написанные слова требуют дополнительного усилия при чтении.

Как уже отмечалось, общение в чатах представляет собой письменную фиксацию устной речи. То, что разговор ведется в реальном времени, сказывается на специфике орфографии, фиксирующей произношение, и на особенностях пунктуации, которой в электронном сообщении придается семантический характер. Для такого общения характерно употребление эллиптических конструкций и перестановка частей предложения, создание контаминированных слов и др. [1. С. 81–85]. Правила речевого этикета при организации чатов представлены в работе Ф.О. Смирнова [6]. Например, никогда не принимайте информацию от незнакомого пользователя за чистую монету. Не пересылайте сообщения вашим собеседникам, если неизвестный отправитель просит об этом. Если в обычной ситуации принято отвечать на приветствие встречного, мало-знакомого собеседника, то в чатах ответ на сообщение “Как дела?” мо-

жет привести к тому, что человек начнет получать на свой электронный адрес рекламные сообщения, спамы.

Большой интерес исследователей вызывает быстрое распространение в Интернете блогов – дневников одного или нескольких пользователей. Психологами отмечены наиболее важные функции блогов: необходимость обсудить какие-либо важные события, снятие эмоционального и нервного напряжения в результате составления дневника, стремление поделиться самым сокровенным. Часто события здесь излагаются в литературной форме, отмечается желание принять участие в языковой игре и др. Правила речевого поведения в блогах регулируются специальными службами так называемых блогхостингов (программ и служб, которые поддерживают функционирование блогов в Интернете).

Тематика блогов довольно разнообразна. Можно выделить несколько групп тем: нейтральные (о погоде, о событиях в культурной, политической и спортивной жизни); предметно-профессиональные, связанные с компетенцией в той или иной области; социальные проблемы (политические, экономические, национальные, религиозные, гендерные), затрагивающие различные сферы личности и общества.

Во многих блогах формулируются правила речевого поведения, создания сообщений в блоге (www.privet.ru):

1. По заголовку вашей записи должно быть понятно, о чем в ней идет речь.
 2. Не ставьте восклицательных знаков в заголовке.
 3. Не размещайте рекламу своих сообществ.
 4. Задавая вопрос, убедитесь, что его еще не задавали до вас.
 5. Рассказывая о возникшей проблеме, описывайте ее максимально подробно – расскажите, что вы делаете, какую конкретно ошибку выдает сайт и на какой странице.
 6. Ваше сообщение должно иметь прямое отношение к работе сайта.
 7. Формулируйте свои вопросы максимально корректно, без излишних эмоций. Помните, что ваше сообщение прочтает довольно большое количество людей.
 8. В сообществе запрещено использование нецензурных выражений и жаргона.
 9. За нарушение любого из вышеперечисленных правил пользователь может быть навсегда исключен из списка участников сообщества, а в особо тяжелых случаях – полностью удален с сайта “Привет.ру”.
- Общими во всех этих и других рекомендациях подобного рода являются следующие: запрет на употребление ненормативной лексики, требование соблюдать правила орфографии и пунктуации, не злоупотреблять элементами оформления (заглавные буквы, большое количество вопросительных или восклицательных знаков), ограничения в исполь-

зовании англицизмов, особых пиктограмм (смайликов, эмотиконов), запрет на необоснованное употребление аббревиатур, требование придерживаться тематики обсуждения (в форумах, блогах), запрет на рекламные сообщения и т.д.

Есть и особые правила речевого поведения, связанные с данным электронным жанром. Так, в форумах не рекомендуется двустороннее общение с кем-либо на другую, чем в данном форуме, тему. В блогах не следует осуществлять дополнительное изменение, “ветвление” сообщения или темы обсуждения.

Все эти рекомендации пока еще не приобрели нормативного характера, но примечательно, что у участников электронного общения стихийно появляется необходимость в определенном регулировании. Эти функции часто выполняет специально выделенный данным электронным ресурсом человек – модератор. Со временем, вероятно, появятся нормативные издания (нечто вроде правил речевого этикета) для многочисленных участников электронной коммуникации.

Литература

1. Дедова О.В. Теория гипертекста и гипертекстовые практики в Рунете. М., 2008.
2. Трофимова Г.Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России: Функционирование русского языка в Интернете: концептуально-сущностные доминанты. М., 2004.
3. Какорина Е.В. Язык интернет-коммуникации // Сб.: Язык массовой и межличностной коммуникации. М., 2007.
4. Кронгауз М.А. Утомленные грамотой // Новый мир. 2008. № 5.
5. Губайловский В. WWW-ОБОЗРЕНИЕ // Новый мир. 2004. № 3.
6. Смирнов Ф.О. Искусство общения в Интернете. Краткое руководство. М., СПб., Киев, 2006.

От мачо к метросексуалу и далее

© В.А. ЕФРЕМОВ,

кандидат филологических наук

Современные средства массовой информации все чаще говорят о кризисе семьи, об изменении традиционных гендерных и социальных ролей, и данная ситуация не могла не отразиться в языке. С конца 1990-х появляется огромное количество разнообразных неологизмов, называющих новые реалии, связанные с отходом от традиционных патриархальных ролей мужчин и женщин, например: “бизнесуман”, “жиголо”, “секс-бомба”; словосочетания “воскресный папа” (калька с англ. *week-end daddy*), “биологический отец”, “патронажная мать” и многие другие.

Со всей определенностью можно утверждать, что коренные трансформации мужского мира привели к появлению новых типов “меняющихся мужчин в меняющемся мире” [1]. К разряду таких новаций относятся, с одной стороны, когда-то экзотическое, а теперь весьма распространенное слово “мачо”; с другой стороны, такие слова-однодневки, как “метросексуал”, “ретросексуал”, “хаммерсексуал”, “уберсексуал” и аналогичные производные, которые активно создаются средствами массовой информации по непродуктивной до 90-х гг. словообразовательной модели, содержащей формант-*сексуал*.

Слово “мачо” (исп. *macho* – самец) пришло в большинство европейских языков из латиноамериканской культуры, в которой им обозначается тип мужчины, проявляющий качества, обычно приписываемые особям мужского пола в животном мире: агрессивность, грубость, физическая сила, напористость, упорство, – а также ярко выраженный мужской тип внешности. Для того чтобы объяснить причины вхождения этого, характерного в первую очередь для латиноамериканской культуры стереотипа мужского поведения в культуру русскую, следует обратить внимание на одну интересную особенность русского языкового сознания.

Так, в “Русском ассоциативном словаре” словарная статья на стимул *мужчина* содержит 547 реакций, из них наиболее частотные – *сильный* (43 реакции), *высокий* (27), *красивый* (16), *настоящий человек* (9), *умный* (6). Легко заметить, что все эти реакции на слово *мужчина* имеют положительную коннотацию. Это свидетельствует о том, что в русском восприятии *мужчина* наделен прежде всего положительными чертами.

Однако этот моделируемый образ – своего рода антипод полученного в ходе социологических исследований образа типичного русского мужчины. По мнению участвовавших в одном из опросов студентов, среднестатистический россиянин – это «мужчина в возрасте тридцати пяти лет, среднего роста, с русыми волосами, сероглазый, полноватый, непричесанный, плохо следит за собой. Он боится лишиться работы, испытывает катастрофическую нехватку денег, постоянно куда-то спешит. Женат, имеет двоих детей, будущим которых очень обеспокоен. “Заеден” бытом. Мало смыслит в “практической жизни”, ждет, когда все “само собой образуется”, трудно адаптируется к “новым жизненным условиям”, не знает, что предпринять, чтобы вырваться из круга проблем. Любит выпить, курит, не занимается спортом, в свободное время смотрит телевизор, любит отмечать праздники. Кроме газет ничего не читает. Добрый, гостеприимный, отзывчивый» [2].

Нетрудно заметить, что в этом описании усредненного россиянина отсутствуют черты сильного, мужественного и твердого мужчины. Следовательно, образ, реконструируемый по материалам русских толковых, ассоциативных и идеографических словарей, отличен от образа, представленного в ходе социо- и психологических исследований. Причина такого несовпадения кроется в том, что словарь фиксирует традиционную картину мира, складывавшуюся на протяжении нескольких столетий, в то время как данные полевых экспериментов отражают актуальную действительность.

Как представляется, эту нишу, образовавшуюся в результате несовпадения образа идеального мужчины и реального представителя сильного пола, и занял в русском лингвокультурном пространстве новый тип мужского поведения – *мачо*, который в последнее время приобрел особую популярность в сознании современника.

Лексикографическая история слова *мачо* в русской традиции весьма коротка и уже не отражает реального употребления: впервые зарегистрированное в 1991-м году [3], слово до сих пор не попало ни в один толковый словарь русского языка. О неактуальности *мачо* еще для 90-х годов XX века косвенным образом свидетельствует и его отсутствие в обратном томе “Русского ассоциативного словаря”: если слово и было известно молодежи 80–90-х, то, по-видимому, находилось в глубоком пассивном запасае и воспринималось исключительно как экзотический феномен чужой культуры.

Однако с начала XXI века понятие “*мачо*” актуализируется и становится сверхпопулярным в российском обществе. Так, по данным Национального корпуса русского языка, с каждым годом частота употребления слова увеличивается. Поискковые программы Рунета выдают около двух миллионов ссылок, также фиксируя огромную популярность *мачо* в текстах различной стилевой принадлежности: от разговорной речи, представленной сетевыми форумами и живыми журнала-

ми, до публицистики, как “глянцевой”, так и аналитической, и научной литературы.

Более того, несмотря на сохраняющуюся память о заимствованной природе (статус несклоняемого существительного), слово начинает бурно реализовывать свой словообразовательный потенциал. Не позднее 1998-го года (также данные Национального корпуса) в русском языке появляется существующее в основных европейских языках уже несколько десятилетий производное *мачизм*, которое довольно активно входит в речевой обиход, отражая попытки осмыслить типаж *мачо* как некий культурный феномен (пример – название статьи “Необъяснимая прелесть мачизма по-русски” // Комс. правда. 2007. 3 сент.).

В отличие от имеющего длительную историю в испанском языке слова *мачо*, заимствованного в большинство европейских языков приблизительно в последней трети XX века, термин *метросексуал* (*metrosexual* от англ. *metropolitan* – “столичный” + *sexual*) имеет точную дату появления на свет. Это авторский неологизм (вместе с существительным *метросексуальность*) известного английского журналиста Майкла Симпсона, который 15 ноября 1994 года на страницах газеты “The Independent” объявил о появлении мужчины новой формации. Он отметил, что метросексуалы – поклонники всего изящного, прекрасного, заботятся о своей внешности, посещают косметические салоны, следуют моде. Человеку образованному нетрудно заметить, что понятие “метросексуал” – это своего рода возрожденный из пепла истории вариант культурного феномена XIX века, известного европейской культуре под названием “денди” [4]. Вместе с тем журналисты и культурологи утверждают, что метросексуальность не просто обновленный вариант дендизма, но и тип мужского поведения, принципиально противопоставленный мачизму. Иными словами, само появление метросексуалов было реакцией на культ *мачо* и *мачизма*.

На вопрос “Как узнать метросексуала?” сам Симпсон отвечает следующее: “Чтобы определить метросексуала, достаточно взглянуть на него. Одного взгляда обычно достаточно, чтобы с большой степенью уверенности сказать, кто он. Типичный метросексуал – это обеспеченный молодой человек, живущий в столице или рядом с ней: в столице лучшие магазины, клубы, тренажерные залы и салоны красоты” [5]. В качестве классического образца метросексуала и сам Симпсон, и большинство пишущих об этом типе мужчин приводят обычно известного английского футболиста Дэвида Бекхэма.

Однако на феномене метросексуала эволюция новых типов маскулинности не остановилась. Следующей модной номинацией мужчин нового типа, появившейся в 2004 году сначала в средствах массовой информации, а затем и в толковых словарях английского языка, стало слово *ретросексуал* (*retrosexual* от лат. *retro* “назад” + *sexual*) – термин, обозначающий мужчину, придерживающегося традиционных романти-

ческих взглядов на отношения с женщинами. Он красиво ухаживает, но одновременно демонстрирует мужественность и даже некоторую долю брутальности. В отличие от метросексуалов, ретросексуалы не особо следят за своим внешним видом – косметикой, дезодорантами и прочие “женские премудрости” они категорически отвергают; при этом основной принцип выбора одежды у ретросексуалов – практичность. Классическим образцом ретросексуала признан знаменитый британский актер Шон Коннери. В 2005-м году термин получил “официальную прописку” в английском языке, так как был добавлен в популярный английский толковый словарь Collins. В то же время благодаря Интернету, в частности, блогам, живым журналам и разнообразным тематическим форумам, слово получило распространение в русском языке и с тех пор с завидной регулярностью обнаруживается на страницах как мужских, так и женских изданий.

Появление следующего термина – *уберсексуал* (от нем. *über* “сверх” + *sexial*) – связано с выходом в свет в 2005-м году книги Мэриан Зальцман, Айры Мататиа и Энн О’Райли под интригующим названием “Будущее мужчин” [6]. Согласно этой книге, на наших глазах появляется новый тип мужчин, которые уверены в себе, мужественны и стильны, “настроены на качество во всех сферах жизни”. Уберсексуал вбирает в себя элементы поведения метросексуала, но больше похож на *мачо*, хотя это вовсе не брутальный или примитивный человек. Он следит за модой, однако не одержим ею. В отличие от метросексуалов, уделяющих внимание в первую очередь собственному имиджу, эти мужчины в большей степени интересуются политикой и окружающим. По мнению авторов книги, уберсексуалы пришли в современную действительность надолго: эпоха феминизма уже отошла на второй план, и в новой, постфеминистской эпохе мужчины в традиционном понимании этого слова куда более востребованны, нежели женоподобные метросексуалы. Авторы книги “Будущее мужчины” нашли представителей этого типа мужчин среди знаменитостей: актеры Джордж Клуни, Пирс Броснан, Иван Макгрегор и даже американский президент Билл Клинтон.

После появления терминов *уберсексуал* и *ретросексуал* подобного рода номинации стали сыпаться со страниц журналов, с экранов телевизоров и с просторов Интернета, как из рога изобилия. Большие тиражи популярных изданий, особое внимание современных СМИ к гендерной проблематике предопределяют распространение такого рода “терминологии” среди широкого круга людей, прежде всего младшего и среднего поколения. Уже существуют *техносексуал* (человек, увлекающийся информационными технологиями, электроникой и Интернетом), *хаммерсексуал* (“мачо в стиле милитари”, который ест только мужскую еду, читает только мужские книги и управляет только мужскими машинами) и др. В качестве логического завершения этой дове-

денной до абсурда ситуации и в качестве языковой игры был даже создан заведомо обесмысленный термин “наносексуал” [7].

Однако вслед за появившейся модой на новые слова и конструирование новых моделей мужского поведения появляется один очень серьезный вопрос: а существуют ли в действительности все эти пресловутые *-сексуалы*? Или, быть может, средства массовой информации сами придумывают и навязывают искусственные образцы поведения и формируют моду на типы мужчин так же, как формируют моду на одежду, автомобили, марки сотовых телефонов и т.д.? И тогда возникает еще более глубокий, философский вопрос: а что было первичнее – выдуманное слово, обозначающее тот или иной тип мужского поведения, или конкретный человек, в общественном мнении воплощающий этот тип? Он сам породил образ того или иного *-сексуала* или лишь стал соответствовать навязанному ему образу?

Литература

1. *Кон И.С.* Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введение в гендерные исследования. Часть 1. Харьков; СПб., 2001. С. 562–605.
2. *Лабковская Е.Б.* Юридическая психология: теории девиантного поведения. СПб., 2000.
3. Новое в русской лексике: Словарные материалы 1991 / Отв. ред. Ю.Ф. Денисенко. СПб., 2005.
4. *Вайнштейн О.* Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2006.
5. *Simpson M.* Meet the metrosexual // Salon. 22.07.2002.
6. *Зальцман М., Мататиа А., О'Райли Э.* Новый мужчина: маркетинг глазами женщин. СПб., 2008.
7. *Константинов А.* Крутой карлик // Русский репортер. 2008. № 19.



Сколько “трамвайных остановок” привозят спортсмены?

О фразеологии спортивных репортажей

© О.А. КАЗЕННОВА

Язык современных СМИ, особенно телевидения, в последние годы становится объектом пристального внимания. И это не случайно, поскольку данный тип коммуникации представляет собой богатый материал для наблюдения над живыми языковыми процессами. В этом плане особенно интересны такие телевизионные жанры, где субъект речи – журналист или его собеседник – находится в ситуации прямого эфира, когда у него нет возможности заранее создать или отредактировать текст и звучащая речь характеризуется неподготовленностью и спонтанностью. Одним из таких жанров является спортивный репортаж.

Речь современного спортивного комментатора отличается особой эмоциональностью, экспрессивностью, что связано прежде всего с тем, что он должен не просто информировать зрителей о ходе того или ино-

го спортивного состязания, но и давать оценку действиям спортсменов. Безусловно, все эти особенности находят свое отражение в выборе тех или иных языковых средств, в том числе и фразеологизмов.

На основе анализа современных спортивных телерепортажей можно заключить, что все фразеологические единицы, которые употребляют комментаторы, можно условно разделить на две основные группы: к первой относятся “общеупотребительные” (сфера их функционирования не ограничивается рамками только спортивного репортажа), например: *оказаться на коне, чувствовать себя не в своей тарелке, спустя рукава, править бал* и др., а во вторую группу объединяются такие словосочетания, которые возникли в сфере спорта и за ее пределами либо не встречаются, либо их использование крайне ограничено, например: *поймать кураж, поймать (свою) игру, побить время, выйти из ... минут, записать на (свой) лицевой счет, занести (себе) в актив, оказаться в копилке/положить в копилку, скользкий счет, на тоненького, трамвайная остановка, забаранить попытку* и др.

Так, выражение *поймать кураж* по частоте своего употребления в комментариях разных видов спорта занимает одно из первых мест. При этом в толковых словарях слово *кураж* трактуется как “наигранная смелость, проявление непринужденно-развязного поведения” [1]. Однако в рамках спортивной сферы происходит его переосмысление, и сочетание *поймать кураж* становится практически синонимом идиомы *открылось второе дыхание* (т.е. само становится идиомой): “Ловит кураж после таких спасений голкипер. Галимов готов спасать свою команду еще и еще раз” – вратарь отражает несколько опасных бросков (хоккей); “Поймали кураж костариканцы, начали финтить. И все проходит у них” (футбол); “Если сейчас выиграет Каньяс, он, конечно, *поймает фантастический кураж*” (теннис).

По своей семантике к данному выражению близко *поймать (свою) игру/чувство игры*, которое употребляется в ситуации, когда действия игроков (как правило, не на первых минутах матча) становятся успешными: “Но мы видим, что белгородцы *поймали свою игру*, у них сейчас получается почти все в атаке” (волейбол).

Оборот *побить время* функционирует преимущественно в репортажах о циклических видах спорта (это беговые дисциплины, велогонки, лыжные гонки и др.) и имеет значение “улучшить предыдущий результат, показать лучшее время”. Например: “А от Элли, конечно, ждут здесь неплохого результата, в принципе неплохо она выступала и в минувшем сезоне, но *побить время* Синди Классен будет очень непросто” (конькобежный спорт).

Значение времени выражает также словосочетание *выйти из ... минут/секунд* “преодолеть какое-либо расстояние быстро/быстрее предыдущего результата”: “*Вышел из семи минут* – шесть – пятьдесят две было у Чудова” – спортсмен прошел третий круг быстрее семи минут (биатлон).

В качестве синонимов выступают и такие фразеологизмы, как *записать на (свой) лицевой счет, занести (себе) в актив, оказаться в копилке/положить в копилку*, которые имеют значение “победить/набрать призовые очки в результате каких-л. успешных действий”. Приведем примеры: “...сумел он завоевать один из индивидуальных трофеев этого сезона – малый хрустальный глобус в номинации “преследование”, ну и таким образом сезон смело он может *заносить себе в актив...*” – (биатлон); “Андерсен *записывает* первые три очка *на свой лицевой счет*” – забивает трехочковый мяч (баскетбол); “Благодаря им [игрокам] и вторая партия *оказалась в копилке* нашей сборной” – речь об игроках, которые выиграли второй сет матча (волейбол).

В комментариях к игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей и др.) довольно часто встречается выражение *скользящий счет*, характеризующее счет в матче как “непрочный, неустойчивый, ненадежный” [Там же]: “Счет два – один – это такой *скользящий счет*” – команда выигрывает со счетом 2:1, но до конца игры еще много времени” (хоккей).

Особого внимания заслуживает фразеологизм *трамвайная остановка*, который, как правило, употребляется в ситуации, когда спортсмен лидирует с большим преимуществом во времени: “Двадцать шесть секунд – почти *трамвайную остановку* привозит Максим Чудов” – говоря об отрыве российского биатлониста от ближайших преследователей (биатлон). При этом, чем больше это преимущество, тем больше “остановок” оно составляет: “Блестящая победа, победа в один ворота! Пятьдесят пять секунд на финише, ну пятьдесят, если уж быть совсем точным, это *две или три трамвайных остановки*” (биатлон); “Победа безоговорочная – пятьдесят девять секунд – *энное количество трамвайных остановок...*” (биатлон).

Еще один фразеологизм, который функционирует преимущественно в спортивных репортажах, – (*играть/выступать*) *на тоненького*. Данное выражение можно толковать как “опасная игра, игра на грани риска”, отсюда *выиграть на тоненького* – “выиграть с большим трудом, с минимальным преимуществом”: «И при всем при этом “Спартак”, надо отдать ему должное, сражался до последнего тура... Но этот великий клуб не должен выигрывать чемпионство “*на тоненького*”, ввиду того только, что соперник дал откровенную слабину в решающий момент»; “Судья срывает свистком выход один на один Голубова, а офсайд если и был, то совсем *на тоненького...*”.

И, наконец, в сфере спорта возникло и активно используется выражение *забаранить попытку*. Данный фразеологизм первоначально употреблялся в легкой и тяжелой атлетике, в тех видах спорта, где требуется выполнить несколько попыток в каком-либо упражнении. В случае неудачного выполнения попытки спортсмен получает ноль очков – на спортивном сленге “баранку” – отсюда и появилось *забара-*

нить попытку, то есть “не выполнить попытку, получить ноль очков” (именно такая трактовка представлена на различных спортивных сайтах в Интернете). Можно добавить, что вне сферы легкой атлетики это выражение имеет значение “выполнить попытку/действие неудачно, получить мало очков”, например в бобслее или в волейболе.

К группе фразеологизмов, употребление которых ограничено рамками спортивных репортажей, следует также отнести выражения, выступающие в роли спортивных терминов. Как правило, они обозначают спортивные/игровые реалии и таким образом выполняют номинативную функцию [2. С. 119]. Приведем несколько примеров с толкованиями:

молочная пуля – промах, *В молоко попасть* (разг.) – промахнуться при прицельной (спортивной/учебной) стрельбе [3];

черное яблоко – центр мишени (оба примера взяты из репортажей по биатлону);

мертвый мяч – *мертвый* в данном контексте означает “тяжелый, сложный”, такой мяч крайне трудно принять или отбить. Соответственно, *мертвая траектория* – такое направление полета мяча, которое затрудняет его прием;

мертвая зона – место на игровой площадке/поле, где у игрока нет возможности провести успешные действия: “Посмотрите, какие *мертвые мячи* тащит Каньяс!” (теннис); “В такую *мертвую* для защитника *зону* отскочил мяч” (волейбол).

В справочниках по спортивной терминологии отмечается также выражение *мертвое время* [4. С. 28], но оно не встретилось в анализируемых репортажах, из чего можно сделать вывод, что данный фразеологизм вышел из активного употребления;

стартовая решетка – позиция/расположение болидов на старте – гоночные автомобили Формулы-1 стоят на старте в шахматном порядке: “...мы с вами наблюдаем, как перемещают машину Льюиса Хэмилтона с места на место по... по *стартовой решетке*. И жуткая суета на этой самой *стартовой решетке*, потому что все команды пытаются разобраться в том, что сейчас произошло...” (Формула-1);

попасть в коробочку – быть зажатым с двух сторон кем-, чем-л.: «Практически в “*коробочку*” *попал*, в двойную, тройную “*коробочку*” – два игрока и борт» (хоккей);

(играть/работать) на втором этаже – высоко; обычно когда спортсмен отбивает/принимает мяч головой: “Нет главной действующей силы – Патрика Виера – великолепного мастера *игры на втором этаже*” (футбол); *(работать) в два этажа* – наносить удары сверху и снизу: “Очень разнообразно, обратите внимание, работает *в два этажа* – бьет по корпусу и по голове” (бокс);

поймать зайчика – временно ослепнуть – когда солнечные лучи направлены в глаза спортсмену: «У нас есть такое выражение “*поймать зайчиков*”, это в открытом бассейне. Если прыгаешь, если солнце стоит

там, где хотелось бы, и ты в этот момент вращаешься, то поймать зайчика – это очень опасно, можно просто растеряться в воздухе, потерять ориентировку» (прыжки в воду);

подача навьлет – в этом словосочетании наречие *навьлет* выступает не в своем “обычном” значении – “насквозь, так, что пуля, снаряд и т.п. вышли наружу” [5]. При *подаче навьлет* мяч пересекает всю площадку и приземляется в самый ее край (не выходит за пределы площадки, наружу), таким образом такую подачу невозможно принять/отбить, она становится неберущейся.

Приведенные примеры показывают, что в спортивных репортажах среди прочих употребляются и такие фразеологические единицы, которые вне данной сферы практически неизвестны. Можно также констатировать, что спортивные телерепортажи служат благодатной почвой для создания новых фразеологизмов, большинство из которых носит терминологический характер.

Литература

1. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 2001.
2. Савченко А.В. Спорт – зона “повышенной фразеологизации” // Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты): Межд. научно-практическая конференция 17 – 19 марта 2006 г. М., 2006.
3. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/РАН. Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова. Отв. ред. Н.Ю. Щедова. М., 2007.
4. Спортивные термины на пяти языках. Баскетбол. Под ред. Ю.Б. Дежнова. М., 1979.
5. Словарь русского языка: В 4-х т./Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1999.



Звенья одной цепи

Об омонимии и синонимии

© Е.М. РУЧИМСКАЯ,
кандидат педагогических наук

Достаточно распространено мнение, что синонимия вообще (а лексическая синонимия в особенности) – явление положительное, так как она позволяет выразить тончайшие оттенки мысли. А.В. Калинин говорил о синонимах так: “Существование синонимов позволяет писателям, поэтам, журналистам с предельной смысловой и стилистической точностью выразить ту или иную мысль, назвать то или иное явление” [1. С. 54]. Н.М. Шанский отмечал: “Богатая синонимия современного русского литературного языка – одно из ярких свидетельств его словарного богатства. Она дает возможность выразить самые тонкие оттенки мысли, возможность разнообразить речь, делает язык более образным, действенным и выразительным” [2. С. 55]. Авторы учебника “Современный русский язык” делают вывод: “Богатая синонимика современного русского языка свидетельствует о его словарном богатстве. При помощи синонимов можно выразить самые тонкие оттенки мысли, разнообразить и индивидуализировать речь” [3. С. 100].

Омонимию же часто рассматривают как крайне отрицательное явление, противоречащее логичности языка. Так, по мнению А.А. Реформатского, “положительную роль омонимы играют только в каламбурах и анекдотах, где как раз нужна “игра слов”, в прочих же случаях

омонимы – только помеха пониманию” [4. С. 65]. Л.А. Булаховский писал: “Поскольку омонимия представляет собой стирание различных примет между значениями слов, ее принципиально относят к отрицательным явлениям языка” [5. С. 45].

Однако чем объяснить тот факт, что язык мирится с этим “нежелательным явлением”? Да и можно ли вообще говорить об отрицательных явлениях в языке? Когда естественный язык используется для создания какой-то иной конструкции, например, информационного языка (по определению Н.Б. Мечковской, “информационные языки – это специализированные системы обозначений, создаваемые для оптимизации представления информации в целях ее дальнейшего накопления, передачи и переработки” [6. С. 383]), то можно говорить, что те или иные явления естественного языка являются для этой конструкции отрицательными и с ними надо активно бороться. К примеру, омонимия (или полисемия) в информационных языках преодолевается с помощью специальных помет, даваемых, как правило, в скобках. Например, “Лигатура (*мед.*)”, “Лигатура (*металлург.*)”, “Лигатура (*муз.*)”, “Лигатура (*полиграф.*)”. А синонимия, рассматриваемая, как было показано выше, как положительное явление в естественном языке, в информационных языках становится отрицательным явлением и преодолевается с помощью отсылок. Например, “Лингвистика. См. Языкознание”. Но это все в специальных конструкциях, где имеет место конвенция (договоренность) между людьми (вернее, группой людей). А естественный язык – это некая данность, и никакой конвенции здесь никогда не было. Никто никогда не договаривался, что сочетание звуков *К – О – Т* означает домашнее животное семейства кошачьих. И говорить о положительных и отрицательных явлениях в естественном языке – это то же самое, что говорить о положительных и отрицательных явлениях в природе. Горообразование, ветер, приливы и отливы – это положительные или отрицательные явления? Вопрос некорректный. Эти явления не положительные и не отрицательные, а просто существующие.

Так что возникновение омонимов в языке так же закономерно, как и любое другое языковое явление. И наличие омонимов в языке вовсе не говорит о его недостатках и не является признаком его бедности. Просто имеет место тождество формы при отсутствии тождества содержания. Как отмечал Р.А. Будагов, “содержание и форма... образуют между собой не тождество, а единство” [7. С. 57]. И это сложное единство.

Если в конвенциональных конструкциях (например, информационных языках) создатели стремятся к тому, чтобы одно означающее соответствовало одному означаемому и одно означаемое соответствовало одному означающему, то в естественном языке это принципиально невозможно из-за явления омонимии и синонимии: одно означающее может соответствовать нескольким означаемым, и одно означаемое может соответствовать нескольким означаемым.

Язык не статичен и развивается по многим причинам. В частности, и потому, что происходят своего рода колебания: то означаемое выйдет за пределы своего означающего и таким образом создаст новый синоним, то означающее начинает соответствовать другому означаемому и, таким образом, порождает явление омонимии (или полисемии). Это можно назвать состоянием неустойчивого равновесия. Именно благодаря этой неустойчивости естественный язык и находится в вечном, никогда не прекращающемся движении.

Таким образом, нельзя сказать, что омонимия и синонимия – это противоположные явления, первое из которых отрицательное, а второе положительное; напротив, эти явления взаимосвязанные, одного порядка.

Литература

1. *Калинин А.В.* Лексика русского языка. М., 1966.
2. *Шанский Н.М.* Лексикология современного русского языка. М., 1964.
3. Современный русский язык: Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Словообразование. Морфология: Учеб. пособие / В.Д. Старичёнок, Н.И. Астафьева, И.Б. Никифорова и др.; Под общ. ред. В.Д. Старичёнка. Минск, 1999.
4. *Реформатский А.А.* Введение в языкознание. М., 1960.
5. *Булаховский Л.А.* Введение в языкознание. М., 1954.
6. *Мечковская Н.Б.* Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций: Учеб. пособие. М., 2004.
7. *Будагов Р.А.* Введение в науку о языке. М., 1965.



“Снимать первые сливки”

О контекстуальном преобразовании идиом

© П. С. ДРОНОВ

В разговоре и на письме люди часто меняют форму фразеологизмов: вместо активного залога используют пассивный (*на нем был поставлен крест*), заменяют одни слова другими (*висеть на волоске/ниточке, вертеться как уж/змея на сковородке*), вводят в состав идиомы новые компоненты (*городить такой большой огород, поставить жирный крест, в полном ажуре, бить большие баклуши, высосать из гениально-неожиданного пальца*).

Носитель русского языка может не заметить ничего необычного во фразе *городить такой большой огород*, но словосочетание *бить большие баклуши* он посчитает каламбуром – хотя, возможно, оно вызовет у него некое отторжение: “Так нельзя говорить”. Варианты типа *городить большой огород*, которые не противоречат нормам языка и не воспринимаются как языковая игра, мы назовем стандартными. Однако вариант, преобразованный путем включения в состав идиомы нового определения, часто нельзя назвать однозначно стандартным или нестандартным.

Стандартными могут считаться варианты идиом, в которых соблюдаются два условия – семантической членимости и семантического согласования [1]. Семантически членимыми называют идиомы, компоненты которых, особенно имена существительные, могут употребляться не только в составе фразеологизма, но и самостоятельно. Выражение не может считаться членимым, если в нем есть слова, не сохранившиеся в

современном языке (так, значение компонента *баклуши* в идиоме *бить баклуши* нельзя понять, не обратившись к данным этимологии и диалектологии). Кроме того, определение, введенное в состав идиомы, не должно противоречить ни ее значению, ни образу в ее основе – это и называется семантическим согласованием.

В ходе анализа подобных модификаций идиом нами было проанализировано более тысячи контекстов на материале Национального корпуса русского языка (<http://www.ruscorpora.ru>), Корпуса русской публицистики и Корпуса художественной литературы 60-х–90-х гг. XX века (последние два разработаны в отделе экспериментальной лексикографии Института русского языка им. В.В. Виноградова). Из них в 501 примере в состав идиом вводились прилагательные или причастия, в остальных случаях – притяжательные и указательные местоимения. Лишь в 153 контекстах из тысячи варианты идиом удовлетворяли общезыковым условиям семантической членимости и согласования, причем это не зависело от стилистической принадлежности нового компонента и самой идиомы (следует учитывать, что большая часть идиом по сути своей разговорна [2. С. 18]): “Космонавты разместили на поверхности Луны несколько комплектов научных приборов, включая сейсмографы, которые принесли данные о деформациях в лунной коре. Однако это, пожалуй, тоже не тот результат, ради которого стоило *городить столь большой огород*” (Константин Феокистов. Траектория жизни. 2000; НКРЯ).

Условия семантической членимости и согласования не соблюдаются в 348 случаях из тысячи проанализированных. В части подобных модификаций (примерно две трети) новый компонент противоречит образу в основе идиомы, но совместим с ее значением.: “Тот, кто умеет задавать трудные вопросы, давно стал прагматиком, следовательно, он бережет ядовитый каламбур или остроумную гипотезу для статьи и *не будет палить из пушек по стреляным аппаратным или политическим воробьям*” (Марианна Баконина. Школа двойников, 2000). Прилагательные указывают на тему высказывания, и подобные модификации названы контекстно-зависимыми [1]. Здесь мы также не обнаружили соотношения между стилистической принадлежностью идиомы и нового компонента.

В других контекстах введенное в состав идиомы прилагательное может быть совместимо с образом в основе идиомы, однако противоречит ее значению: “Я *родился в смиренной рубашке*” (Венедикт Ерофеев. Вальпургиева ночь, или Шаги командора. 1985; НКРЯ). Слово *смирительный* в данном примере противоречит и актуальному значению идиомы (нельзя сказать **быть во всем смиренно удачливым*), и ее образной составляющей (изначально под “рубашкой” или “сорочкой” подразумевался плодный пузырь, не разорвавшийся во время родов; если ребенка удавалось спасти, он считался везучим). Прилагательное заставляет осмыслять идиому в актуальном и дословном значениях одновре-

менно, причем общее значение словосочетания несколько меняется (вряд ли человек, “родившийся в смирительной рубашке”, может быть счастливым). Любопытно, что среди всех примеров модификаций двойной актуализации в 2.5 раза меньше, чем модификаций контекстно-зависимых.

Мы обнаружили четыре контекста, в которых идиома может восприниматься по-разному в зависимости от того, к какому стилю отнесен новый компонент. В “Герое нашего времени” о судьбе одного из героев, Казбича, сказано: “Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Терек или за Кубанью: туда и дорога!..” Прилагательное *буйный* совместимо и со значением идиомы (в готовящемся к выходу словаре [3] она отнесена к высокому стилю и протолкована как “умереть насильственной смертью в ходе активного участия в боевых действиях, защищая кого-л. или что-л., занимающее высокое место в иерархии ценностей, что рассматривается как выполнение долга, вызывает уважение”), и с ее образной составляющей. На первый взгляд, *буйный* не соответствует стилю и эмоциональной окраске фразеологизма, но это не так. *Буйна голова* – традиционная формула в устном народном творчестве: “Нам послать будет Бориса королевича, – Королевского да роду гордого, / Потерят он в гордосоти да буйну голову. / Нам послать Олешеньку Поповица? / Ай поповского роду спесивого, / Потерят он в спесыти буйну голову” (Былина “Бой Ильи Муромца с Сыном”). Соответственно, прилагательное соответствует высокому стилю идиомы *сложить голову*.

Еще один пример – вариант фразеологизма *гнать волну*: «“Астория” стала одним из лучших отелей Петербурга. Митинговавшие литературоведы забыли о поражении и ушли в политику. Правда, и там они остались любителями – любителями *гнать гнилую волну*» (Марианна Баконина. Девять граммов пластита. 2000; НКРЯ). В “Большом словаре русской разговорной экспрессивной речи” словосочетание *гнать волну* (помета жарг[онное] крим[инальное]) протолковано как “нервничая, проявляя злость или агрессивность, торопить, подгонять кого-л.” [4. С. 82]. С точки зрения стилистики и лексической сочетаемости, **гнилая волна* выглядит, по меньшей мере, странно. В значении “испорченный гниением, затхлый, сырой” прилагательное совместимо только с образной составляющей идиомы: на гниющем водоеме вполне могут подниматься волны. В значении “ненадежный, коварный, хитрый, способный на подлости” [5. С. 112] оно совместимо только со значением идиомы, но никак не с образом в ее основе. Таким образом, в зависимости от значения и стилистической принадлежности слова *гнилой*, вариант *гнать гнилую волну* следует относить или к контекстно-зависимым модификациям, или к модификациям двойной актуализации.

Следующий случай – идиома *обливать грязью (кого-л.)* “незаслуженно, без оснований порочить, оскорблять кого-л.”. Толкование идиомы

взято из “Фразеологического словаря русского литературного языка” А.И. Федорова [6], где она отнесена к разговорным и экспрессивным. В словаре А.И. Молоткова [5. С. 290] фразеологизм дан в форме *обливать [поливаться] грязью [помоями] кого, облить грязью [помоями] кого* и отнесен к общеупотребительным (стилистические пометы отсутствуют). Выражение *обливать / поливать помоями / грязью* семантически членимо.

Среди примеров употребления этой идиомы была обнаружена такая модификация: “Как слепые, идем мы по пути, создавая себе из привычки бога, пока этот бог не *обольет* нас *своими вонючими помоями*, и, очнувшись, мы не восстанем на судьбу свою” (М.М. Пришвин. Дневники. 1918, НКРЯ). Здесь обыгрывается метафора, лежащая в основе идиомы, – “оскорбление как нечто грязное, скверно пахнущее”. Прилагательное *вонючий* совместимо с образом в основе идиомы, но несовместимо с ее значением (невозможно протолковать идиому как “вонюче оскорбить”). Соответственно, модификация должна восприниматься буквально и осмысляться в своем обычном значении (у Д.О. Добровольского это названо двойной актуализацией).

В разговорно-сниженной речи слова *вонь, вонять* получают новые значения [7. С. 106]: “*Вонь* – ж[аргонизированная] р[азговорная] р[ечь]. Ругательство. *Вонять* – неодобр[ительное] 1. мол[одежное] Вредить кому-л. 2. мол[одежное] Доносить на кого-л. 3. угол[овное], мол[одежное] Выражать необоснованное недовольство. 4. угол[овное] Нудно читать нотации, отчитывать кого-л[ибо]”.

Сам фразеологизм *обливать / поливать помоями / грязью* относится к разговорному регистру. Модификация *поливать вонючими помоями* вполне удовлетворяет условию семантического согласования с точки зрения современной разговорно-сниженной речи с элементами жаргона (заметим, не речи, современной первому фрагменту). Для сравнения, при замене прилагательного *вонючий* на его синоним *зловонный* (в толковом словаре Н.Ю. Шведовой это слово не имеет никаких стилистических помет [8]), двойная актуализация будет заметна сразу: “Не вздрагиваешь ли ты, когда Познер, еще лет пятнадцать назад *поливавший* Америку *зловонной грязью*, требует теперь от нас жить по стандартам его второй Родины?” (Савва Ямщиков. Вопросы простодушного // Наш современник. 2004; НКРЯ).

Еще одна неоднозначная модификация была обнаружена среди примеров употребления идиомы *снимать сливки*: «По всем столичным сувенирным лавкам пылятся легионы однотипных деревянных котов, нефритовых псевдокитайских идиолов <...> и прочая дребедень. А как все славно начиналось! *Самые жирные сливки с этого кувшина снял* магазин “Путь к себе”, открывшийся в 1993 году и ставший первым игроком на рынке сувенирной экзотики» (Евгения Ленц. Сувенирные лавки повышенной плавучести // Бизнес-журнал. 2004; НКРЯ). Поскольку сливки

могут содержать разное количество жира, прилагательное вполне соответствует образной основе идиомы, однако нельзя однозначно сказать, совместима ли модификация с ее значением или нет. В нейтральном стилевом регистре словосочетание **брать себе самое жирное* в значении “брать себе лучшее” маловероятно, и тогда модификацию следует отнести к типу “двойной актуализации”; однако в разговорной речи вполне допустимо употребление слов *жирное*, *наваристое* в значении “лучшее” в результате метафорического переноса, и тогда этот вариант идиомы следует признать вполне стандартным.

В следующем контексте также возможны разные толкования идиомы *снимать сливки*: “- По разделу пополнения,- тщательно вытирая руку начал отвечать он, - мы все уже вчера у майора решили. *Первые сливки* гауптман Зиберт *снимет*, потом мы, ну а что после нас останется - в две первые роты” (Андрей Уланов. Крест на башне // <http://www.fenzip.org>).

Хотя стилистическая принадлежность нового компонента и идиомы здесь совпадает, пример представляет определенный интерес. С точки зрения человека, не знакомого с техникой производства сливок, идиома не является членимой и, как следствие, модификация представляется скорее окказиональной. Порядковое числительное *первые*, в целом, не противоречит дословному значению идиомы. До изобретения молочного сепаратора сливки получали отстаиванием молока в течение 12–24 часов, после чего их снимали или сливали (отсюда русское название; снятие сливок с поверхности молока отражено и в ряде других языков, ср. украинск. *вершки*, сербск. *врхње*) один или несколько раз. Хотя в настоящее время существительное *сливки* не является исчисляемым, можно встретить примеры его употребления с порядковыми числительными, датируемые началом XX века, достаточно заглянуть в руководство по изготовлению вологодского масла (до Октябрьской революции оно называлось “парижским”): “Чтобы достичь наивысшего выхода масла, желательно, где только это допускается обстоятельствами, сепарировать пахту. Так как первые сливки от пахты получаются очень жидкие, то для сокращения их количества надо пропускать сливки вторично” (А. Прейс. Выработка “Парижского” масла // Молочное хозяйство и скотоводство. 1917. № 43–44). Модификация *снимать первые сливки* показывает, насколько зыбки границы между соблодением и нарушением речевого стандарта при употреблении преобразованной идиомы.

Хотя условия семантической членимости и семантического согласования действуют при вводе определения в состав идиомы, однако новый компонент может удовлетворять названным условиям в разной мере. Было бы опрометчиво говорить о явной закономерности, поскольку среди сотен проанализированных контекстов обнаружено, как мы уже упомянули, лишь четыре примера влияния стиля на характер модификации идиомы. Особенность последних можно объяснить, во-первых, тем, что

новый компонент может в разных контекстах речи приобретать различные значения и оттенки. Во-вторых, языковая игра может быть построена и на стилистическом несоответствии идиомы и слова, которое введено в ее состав. При этом необходимо учитывать то, что понимание членности и семантического согласования в той или иной модификации, по-видимому, может различаться от идиолекта к идиолекту и зависит от жизненного и языкового опыта носителей (ср. *снимать первые сливки*).

Литература

1. Добровольский Д.О. Лексико-синтаксическое варьирование во фразеологии: ввод определения в структуру идиомы // Русский язык в научном освещении. № 2 (14). М., 2007.
2. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Имя им легион vs. их как грязь: устная и книжная идиоматика в сопоставлении // Язык современного города. Тезисы докладов междунар. конф. Восьмые Шмелевские чтения. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова, 2008. С. 18–21.
3. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. (ред.) Фразеологический объяснительный словарь русского языка. М., в печати.
4. Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб., 2004.
5. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка. М., 1967.
6. Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. М., 2001.
7. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.
8. Шведова Н.Ю. (ред.) Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. М., 2007.

“Трудно? Употребил усилие”

Заметки о речевой культуре

© И.Л. ШИЛОВА

Человек, внимательный и безразличный к состоянию родного языка, не может не заметить участвовавших отклонений от нормативных требований в современной речи.

Причиной многих из них стал существенно ускорившийся темп речи, что, в свою очередь, связано с ускорением темпа жизни. Быстрая речь не только трудна для восприятия (радиослушатель почти никогда не успевает записать диктуемые адрес, сайт, телефон), скорость иногда не позволяет говорящему охватить сознанием всю синтаксическую конструкцию в целом и потому грамотно построить фразу. Темп – “наш современный чародей” – нередко порождает логические и даже фактические ошибки. Примеры из речи дикторов: “Жертвы цунами продолжают расти”, “В 98-м рухнуло всё, упали (как раз наоборот!) цены”, «Фестиваль станет итогом Кубка мира по итогам игры “Что, где, когда» (оставив в стороне тавтологию, возможен ли кубок мира в этой игре?)».

Нередко нарушается порядок слов: “через буквально минуту”, “через буквально минуты четыре”, “послушайте полезную информацию для здоровья”. В связи с этим возникает вопрос, с какой целью на радио России время от времени звучит: “Полные слова смысла”? Получается какая-то сомнительная шутка.

Паузы в речи возникают часто спонтанно, там, где говорящего застигает необходимость добрать воздух. Неверно расставляются логические ударения: “Атмосферное давление будет мало меняться” вместо “... будет мало меняться”, ведь смысл тут в том, что оно почти не изменится.

Пауза ни в коем случае не должна отделять союзы и предлоги от значимых слов, но сплошь и рядом она возникает после предлогов *к*, *с*, *в*, которые в результате произносятся с добавлением некоего гласного, среднего между *ы* и *э*. И хотя эта особенность появилась не вчера, но в настоящее время особенно распространилась: “[вы] Казанский университет”, “[вы] преддверии” (радио России. 2008. 2 нояб.). Нетрудно заметить, что при таком произношении нарушаются фонетические закономерности: перед глухими согласными звонкие должны оглушаться: надо произнести [фк]азанский, [фп]реддверии; перед звонкими глухой согласный озвончается: [гд]епутату, [зз]ападными странами, а не

[кы], [сы]. И уж совсем удивительной представляется пауза между предлогом и словом, начинающимся гласным звуком: [вы] *Италию*, [вы] *Израиль*.

К поспешному темпу добавляется вялость артикуляции, при которой выпадает не только интервокальный [д]: “буит”, “воит”, вместо *будет* и *водит*, но и гласные: “окенический” (вместо *океанический*), “паралимпийские” (вместо *параолимпийские*), “выиграли” (вместо *выиграли*); и совершенно ужасает “религоведение” (вместо *религиоведение*). Этим ошибок могло бы не быть, стоило только задуматься.

Часто там, где следует произнести двойной согласный, звучит один: “Ме[к]а” вместо *Мекка*, “Бу[д]а” вместо *Будда*, “баро[к]о” вместо *барокко*. Однажды была произнесена совершенно курьезная фраза, еще и с неверным ударением (речь шла об исламской революции в Иране): “На смену шаху пришли мулы” (вместо *муллы*). Или вот еще пример (речь шла о театре): “Тру[п]ы из ближнего зарубежья” (вместо *труппы*).

Теперь о несколько ином явлении: распространении побуквенного произношения некоторых сочетаний согласных: “чу[фств]овать”, “Оренбу[ркс]кая область”, “о[тд]ушина”, “петербу[ркс]кий”, вместо соответствующих литературной норме: *чу[ст]вовать*, *Оренбу[рс]кая*, *о[дд]ушина*, *петербу[рс]кий*.

Напротив, есть сочетания, в которых не должно происходить выпадение звуков, к их числу относится сочетание *нкт* (пунктир, адъюнкт). В названии “Санкт-Петербург” следует проартикулировать *нкт* полностью. Никак нельзя согласиться с профессором М.Я. Дымарским, который в одной из передач “Как это по-русски?” рекомендовал один из звуков опускать, кстати, не назвал, который именно, потому, что это – нонсенс. Другой вопрос: всегда ли надо использовать полное, торжественное наименование “Санкт-Петербург”? Не уместнее ли, сообщая о погоде, употребить простое – Петербург? Нелепо выглядит название жителей города – “санкtpетербуржцы” или такое придуманное словосочетание – “санкт-петербургский дождик”!

Но особенно беспокоит невнимание, даже какое-то безразличие, к правильной постановке словного ударения.

Остановлюсь на одном явлении, связанном с акцентологией. Во многих сложносоставных словах ударение одно: *высокопáрный*, *великодóушный*, *великовóзрастный*, *высокока́чественный*, *молокозавóд*. Но во многих случаях такие слова должны иметь дополнительное, так называемое “побочное”, ударение на первой части таких слов. Гласный *о* в этих случаях сохраняет свое качество, а не уподобляется звуку *а*, как это обычно бывает в безударной позиции. Тем не менее в последнее время распространилось произношение: [ва]доко́нтроль, [ан]щегосуда́рственный, [ма]чекаме́нная болезнь, [ма]репро́дукт, [ан]щедо́ступный, за[ка]нто́творчество. Длительное время на радио была передача “Музыкальный постскриптум”, которую постоянно анонсировали,

как [паст]скриптим. Наконец, слово *работодатель* ежедневно звучит как *ра[ба]тодатель*, вызывая представление о рабстве. К тому же эгс побочное ударение иногда ставится неверно, например: “вну́трипале-стинский” или “вну́триглазное” (вместо *внутри*).

О словоупотреблении. Начну с ошибки, живучей, как вирус. В передаче “Стань журналистом”, которую уже не первый год ведут по радио преподаватели факультета журналистики МГУ, абитуриентам упорно предлагают “предоставить” свои документы и сочинения; так же и на конкурс “Звуки музыки”, объявленный петербургским радио, требуется “предоставить” резюме и фонограмму. Но если преподаватели путают слова *представить* (именно его следовало употребить в обоих приведённых случаях) и *предоставить*, чего же ждать от их учеников, завтрашних журналистов?!

Особая область – торговля, здесь “и невозможное возможно”: “простынь” (на ярлыках, вместо *простыня*); “Золотая семечка” – название растительного масла (всегда считалось, что *семечко* среднего рода!). Продолжают бытовать “восточные сладости” (вместо *сласти*). Бывает, оказывается, и “свиной балык”, хотя *балык* (тюркск.) – рыба.

Очень огорчает смешение слов *похоронить* (*похороны*) и *захоронить* (*захоронение*). Услышав: “... на седьмой день после *захоронения* А.И. Солженицына ...” (Радио России. 2008. 7 авг.), как не воскликнуть: “Тело покойного – не радиоактивные отходы!”

Когда речь заходит о землетрясениях или взрывах, применительно к их очагу или центру неизбежно возникает слово *эпицентр*. Но эпицентр землетрясения не может находиться на глубине в 10 км, как о том поведало радио “Шансон” (2008. 13 июня), ибо эпицентр – это область на поверхности Земли, расположенная над очагом землетрясения.

Активно в последние год-два стало употребляться слово *артефакт* и всегда в значении “археологическая находка”. На самом деле *артефакт* – свойство и качество, не характерное для данного предмета, но появившееся в результате его исследования.

Тележурналисты и радиоведущие порой просто не замечают сленговых слов и выражений: “гнобить”, “динамить”, “всё в шоколаде”. Вряд ли уместно и стилистически оправданно употребление слов “париться” в значении “стараться” и “дембель” при обсуждении вопроса о введении ЕГЭ (единого госэкзамена) и нового закона о призыве на воинскую службу. В концерте по заявкам нам желают успехов “по жизни” (почему бы не “в жизни”?). Одна из передач для школьников называется “Мифологическое чтиво”. Передача знакомит с легендами и мифами древних Греции и Рима. За что же она удостоилась такого неодобрительного наименования – “чтиво”? Этим словом, обладающим пренебрежительной окраской, называют несерьезную, пустую литературу.

Если это шутка, то не очень удачная, так как в детское сознание слово войдет без присущего ему стилистического оттенка.

Несколько слов об англицизмах. Мы переживаем сегодня период двуязычия. Вторым языком стал английский. При этом считается, что все обязаны без перевода понимать, что такое “прайм-тайм”, “онлайн”, “саундтрек”, “камбэк”, “сиквел” или “лузер”. Нас окружает сплошной “сейфинг и Интернет-банкинг”! (из уличной рекламы). Не создает ли это социальной проблемы раскола общества?

Сегодняшний юноша, словарный запас которого обогащен английскими заимствованиями и большим числом сленговых словечек, слабо знаком с фразеологическими богатствами родного языка. Свою вредную роль в этом играет реклама, буквализируя речевые обороты (“сливки общества” и “высокие материи” – это всего лишь хорошего качества сливки и ткани). Может, реклама препарата “Колдрекс”, предлагавшая лечить головную боль, кашель и насморк одним рекламируемым средством (“семь бед – один ответ”), повинна в том, сто студенты не могут сегодня правильно объяснить значение этого выражения. Речь в обороте идет вовсе не о бедах, несчастьях или неприятностях, а о готовности совершить в дополнение к уже совершенным еще один предосудительный поступок, ввиду неизбежности наказания.

С плохим знанием фразеологии связаны самые разнообразные ошибки. Оборот “выйти в тираж”, означающий “стать непригодным”, употребляют в значении “получить известность” (Петербургское радио. 2007. 28 авг.), вместо “в корне” используется сочетание “на корню”: “Следственная система должна измениться *на корню*” (Там же. 2007. 7 сент.). При всем видимом сходстве значение оборотов разное: *на корню* значит “в самом начале, в зародыше”, а *в корне* – “совершенно, абсолютно”.

Наконец, о грамматике. Практически каждый день звучит: “в Украину”, “со школы”, “оплата за” (вместо “оплата чего”), “беседовать по проблемам” (вместо “... *о проблемах*”), “участие на концерте, на фестивале” (почему не “*в концерте*”?). Встречаются ошибки и морфологические, например: “продлять” вместо *продлевать*; “Мягкость наказания *растляет*” вместо “*растлеает*” (М. Веллер. Россия и рецепты).

Глаголы *достигать*, *добиваться*, *хотеть*, *желать*, *ожидать*, *ждать*, которые во многих случаях требуют родительного падежа, употребляются сплошь и рядом с винительным. Многократно накануне Нового Года гостям радио был задан вопрос: “Что Вы ждете от Нового года?” Почему у М. Цветаевой: “Так писем не ждут, так ждут письма”? Как нелепо было бы “ждут письмо”! Или пушкинское “Желаю славы я” превратилось бы в “Желаю славу я”! А ведь сейчас так пишут, а потом поют. Вот два примера песенных текстов: “Ласковой ночью просит влюбленный любовь” (Сравните: А. Ахматова – “Я не любви твоей прошу”); “Знаешь, мне и не надо свет от других планет” (и ведь

исправить ничего не стоит: *не надо света* – и ритм не пострадает; опять сравните – у И. Анненского: “с ней не надо света”); “*Что* вам не хватает?” вместо *чего?*; “дозвонитесь, *что* бы (вместо *чего*) вам это ни стоило”.

Участилось использование вместо действительных причастий – страдательных: “в части, *касаемой* льгот” (вместо *касающейся*), “у нас большая *читаемая* аудитория”.

Предложения, содержащие деепричастный оборот, редко строятся грамотно. Вот примеры: “Проживая в своей квартире, деньги выплачиваются точно в срок” (Из рекламы). Диктор сообщает: “В районе прорвало водопровод, залив котлован”. А так говорит автор четырех англоязычных словарей: “Не зная английских слов, правила грамматики бесполезны”.

Интересная история с глаголом *подкачать*. В значении “оказаться неудачным” этот глагол – непереходный. Но постоянно встречается неверное употребление: “Чтобы погода *нас* не подкачала”. Еще смешнее: “погода подкачала *автомобилистов*” – тем более, что контекст позволяет думать о буквальном “подкачать шины”.

Распространенная ошибка – использование в сочетаниях *по окончании*, *по возвращении* ... не предложного, а дательного падежа: “по прилёту” вместо *по прилёте*.

Трудной оказывается конструкция “такой, как”, требующая затем именительного падежа. Нередко слышим: “Такие страны, как Италию, Францию ...”; или: “Мы любим музыку Варламова такой, какой (вместо *какая* или *какова*, можно *как*) она есть”.

Но самое сложное – склонение числительных. Добро бы, количественных, но и порядковых. Складывается впечатление, что этого не умеет никто. Кажется, так просто: “в две тысячи восьмом”, “к две тысячи двадцатому” и т.д. Но нет: постоянно – “двух ...”!

А взять простейшие количественные, так тут вместо *двухсот*, *пятисот*, *восьмисот* ... – “*пятиста*” (но ведь сотня не одна, а несколько, значит *-сот*!). Только один пример: “помочь *двухсот* двадцати пяти (вместо “*двумстам* ...”) обманутым дольщикам”.

Закончу высказыванием, в котором речь идет, правда, об ином законе, но почему бы не применить его к русской речи: “... Закон не отменяется ради трудности исполнения. Трудно? – Употреби усилие” (Святитель Феофан Затворник).



ОТ АССАМБЛЕИ К БАЛУ

© Л.Г. ЛИТВИНОВА,
кандидат исторических наук

Начало важным преобразованиям в России при Петре I положило Великое посольство в Западную Европу (1697–1698 гг.), в составе которого находился и молодой царь. Путешествуя из государства в государство, он познакомился не только с достижениями в области промышленности, экономики, флота, но и с общественно-политическими укладами, культурными особенностями посещаемых стран.

Начиная с эпохи Петра I господствующее положение среди всех сословий в России стало занимать дворянство, уравненное в правах с боярством и консолидировавшееся с ним в единый класс-сословие.

Царь-реформатор с присущей ему настойчивостью и энергией стал насаждать новые нравы и традиции, заставив дворянство переодеться в европейское платье, усвоить “правила хорошего тона” и “благородного поведения в обществе”, овладеть иностранными языками и окончательно забыть о диких нравах, царивших до тех пор в России. Теперь даже при встрече дворяне стали приветствовать друг друга на западный манер: “Мужчины, отставив назад ногу, усердно мели перед собой землю шляпой. Женщины, стараясь удержать равновесие, приседали в

книксене” [1] вместо прежнего троекратного сгибания в низком поклоне. Хорошие манеры необходимо было демонстрировать, прежде всего, на так называемых *ассамблеях* – общественных собраниях.

Участие в ассамблеях стало важной вехой нового образа жизни в России. На них непременно должны были присутствовать женщины. Это серьезно изменило их положение в обществе, а люди, пренебрегавшие ассамблеями, даже высылались из Петербурга. Петр придавал большое значение этим собраниям, сам составил для них подробные правила и расписал очередь проведения ассамблей, включив в нее и себя. Первая ассамблея состоялась 4 декабря 1718 года у генерал-адмирала Апраксина, известного в то время хлебосола.

На ассамблеи было предписано являться не только с женами, но и со взрослыми детьми, одетыми в нарядные одежды по западному образцу. Русский двор не уступал в помпезности дворам европейских монархов: “Все были в самых парадных костюмах, делавших собрание особенно блестящим, и я никогда не видал вдруг столько драгоценных камней..., если видел, то разве только на аудиенции турецкого посла в Париже, в начале нынешнего года” [2. Ч. 1].

Необычными стали и прически, появилась мода на парики, а женщины стали использовать фальшивые локоны. Поверх прически надевали чепец из белого кружева – *фантанж* (головной убор из лент, название произошло от имени фаворитки Людовика XIV m-lle de Fontanges]. Мужчины до 1725 года носили напудренные удлиненные парики, которые позднее стали перетягивать бархатной лентой в “хвост”. Однако сам Петр I париков и кружев не носил.

Камер-юнкер Ф.В. Берхгольц, приехавший в Россию в составе свиты герцога голштинского Карла-Фридриха, писал в своем дневнике, что, если собрание случилось в доме неженатого человека, то: “дам ни одной не было, <...> я нашел это общество без дам неприятным; мужчины только разговаривают, играют в шахматы, курят табак и пьют” [2]. Когда же общественные собрания устраивались в домах женатых хозяев, то помимо игры в шахматы и шашки, обсуждения новостей, обычно слушали иноземную музыку в исполнении немецких музыкантов и обязательно танцевали модные европейские танцы: *полонез, менуэт, контрданс, англес*. В перерывах между танцами дамам предлагались чай, кофе, мед, варенья, а позднее вошли в моду шоколад и лимонад. Если по окончании ассамблей гостям предлагался ужин, то “за столом дамы обязательно сидели вперемежку с кавалерами” [3], что было совершенно недопустимым в допетровское время, когда мужчины и женщины во время трапезы сидели отдельно в разных комнатах.

Главным украшением ассамблей, конечно, были танцы, которые сначала проходили под духовую музыку – “гремели трубы, фаготы, гобои и литавры”. Лишь с приездом голштинского герцога в Петербург в 1721 году горожане впервые познакомились с приятной музыкой, кото-

рую исполнял привезенный им из Вены “небольшой струнный оркестр, понравившийся до такой степени, что его наперебой каждый вечер куда-нибудь приглашали” [3].

Одним из явлений новой дворянской культуры становится бал, заведенный в России благодаря петровским ассамблеям. С этого времени и начинается складываться история бальной культуры.

Зарождение балов восходит к празднествам при французском и бургундском дворах. Имеются сведения и о первом бале, который был дан в 1385 году в Амьене по случаю бракосочетания Карла VI с Изабеллой Баварской. Балы получили широкое распространение только при галлантном короле Генрихе IV, хотя настоящую свою форму они приобретут лишь во времена Людовика XIV и станут неотъемлемой частью большинства придворных празднеств при европейских дворах. А Франция будет признана законодательницей бальной культуры.

От других танцевальных собраний бал отличался известным блеском, более строгим этикетом и заранее определенным порядком. Согласно заведенной традиции, перед началом бала хозяин дома выбирал *царицу бала*, которая, в свою очередь, посвящала кого-нибудь из кавалеров в *маршалы бала* и церемонно передавала ему бронзовый вызолоченный *жезл* – символ владычества на этом танцевальном собрании, полученный ею от хозяина дома. Маршал обязан был беспрекословно исполнять все повеления своей дамы.

Петровские балы всегда открывались торжественным *полонезом*, за которым следовали *миновей (менуэт)* и другие модные в те годы танцы, род *контрдансов*, например, *пистолет-миновей, англез* и др. Пример исполнения польского церемониального танца – полонеза – описан в романе А.С. Пушкина “Арап Петра Великого”: “Неожиданное зрелище... поразило. Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево и т.д.”. Такие танцы продолжались около получаса, затем распорядитель бала с букетом “провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт”. В менуэтах право выбора партнера по танцу “подобает даме, а не кавалеру” (Там же).

Мода на иностранные танцы, по словам первого русского искусствоведа Я. Штелина, появилась именно при Петре I. До тех пор, как и во времена его отца царя Алексея Михайловича, “обычно никакого другого танца еще не знали [кроме русского деревенского танца]. Только при царском дворе кроме него танцевались еще веселые украинские и степные польские танцы, которым вполне соответствовали длинные в ту пору одежды русских” [4].

Итак, в царствование Петра I не только современное европейское платье, музыка, но и танец стали важными показателями светскости.

На петровских балах и ассамблеях всегда присутствовало много иностранцев, внимательно следивших за происходившими переменами в России, поэтому “еще при жизни Петра Великого считалось знаком дурного воспитания, если мужчина или женщина, все равно из городского сословия или из дворянства, не умели танцевать менуэт, черкесский или штрийский, польский или английский танцы” [4]. В то время в танцах особенно отличались пленные шведские офицеры, которые и стали первыми учителями русских дам и кавалеров. Вскоре их заменят специально приглашенные к императорскому двору итальянские, а затем и французские танцмейстеры, которые охотно будут обучать дворянскую молодежь и отпрысков аристократических фамилий балльным танцам: “Танцмейстер – образцовый придворный кавалер... Он обучает манерам..., с ним советуются, ему подражают... Просвещенный человек брал свои манеры у танцмейстера” [5]. Побывав на одном из балов в 1721 году, камер-юнкер Берхгольц отметил в своем дневнике: “Вообще надобно отдать справедливость здешним родителям: они не щадят ничего для образования своих детей. Вот почему и смотришь с удивлением на большия перемены, совершившиеся в России в столь короткое время” [2].

Как видим, уже через три года после введения Петром I ассамблей, бал становится наиболее любимым времяпрепровождением и “одной из немногих форм дозволенного в России той поры коллективного быта” [6]. На балах не только танцевали, но и учились светскому обхождению мужчины и женщины. Петр Великий, мечтаая видеть русское дворянство утонченным и образованным, как в Европе, повелел перевести с немецкого и напечатать “Приклады, како пишутся комплименты” (СПб., 1708; были еще издания 1712 и 1725). Нетерпеливый по натуре Петр I не только указами, но и личным примером стремился заставить дворян с достоинством носить европейский костюм, непринужденно общаться и грациозно танцевать. Петр и его супруга Екатерина были прекрасными танцорами. Но Екатерина старательно танцевала только в паре с Петром Алексеевичем, “который, подобно ей, выделял тогда каждое па. С другими кавалерами она танцевала небрежно и ходила обыкновенно шагом” [3]. Случалось, что государь, “играя на барабане в качестве тамбур-мажора, дирижировал танцами, – так как изучал и хореографию” [7], и любил блеснуть своим мастерством танцора. Нередко, по словам Берхгольца, “император, будучи очень весел, делал одну за другою, каприоли обеими ногами...” [2]. *Каприоль*, по словам Ш. Компана, “есть биение ног, делаемое во время скакания, когда тело на воздухе” [8]. Из “Дневника” Берхгольца также узнаем, что в танцах Петр I “оказывался большим затейником” и даже сочинил трудный и замысловатый *цепной kettentanz*, бывало, что во время бала “царь со свойственною ему настойчивостью” обучал неумелых танцоров разным танцевальным фигурам и “объявил им, что выучит их скоро” [2].

Заемствованная из Франции бальная культура прижилась в России, а императорский двор достиг своего великолетия уже в последующие царствования женщин – Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. В эпоху императрицы Екатерины II блеск двора был доведен до высшего предела [3].

Литература

1. *Овсянников Ю.М.* Картины русского быта. М., 2004.
2. Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра Великого с 1721-го по 1725-й годы. Перевел с немецкого И. Аммон. М., 1858. Ч. 1.
3. *Зарин.* Царские развлечения и забавы за 300 лет. Исторические очерки. М., 1913.
4. *Штелин Я.* Музыка и балет в XVIII в. Л., 1935.
5. *Блок Л.Д.* Классический танец: История и современность. М., 1987.
6. *Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII–XIX века). СПб., 1994.
7. *Захарова О.Ю.* Светские церемониалы в России в XVIII–начале XX в. М., 2001.
8. *Компан Шарль.* Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила и основания танцевального искусства, с критическими размышлениями и любопытными анекдотами, относящимися к древним и новым танцам. Пер. с франц. М., 1790.

КАК ПОЯВИЛИСЬ ЛЕКАРСТВА И ИХ НАЗВАНИЯ

© А. Г. КОЧКАРЕВА

Русская фармацевтическая терминология прошла длительный период развития, возникнув в XVIII веке и дорабатываясь на протяжении XIX–XX веков. В ее формировании большую роль играли выдающиеся ученые, чьи имена вошли в историю мировой науки, а также фирмы, создававшие новые лекарственные препараты.

В становлении отечественной терминологии можно различить два основных этапа. Наиболее ранний относится к XVIII–XIX векам и связан с формированием русского литературного языка, с активным заимствованием лексики из западноевропейских языков. В этот период появилось большое количество новых лекарственных средств, фармацевтических групп, и, как следствие этого, возникло много новых терминов. В XVIII веке стали создаваться первые отечественные фармакопеи на латинском языке. В 1866 году выходит на русском языке “Российская фармакопея. Первое издание”, автором которого был выдающийся ученый-фармацевт Ю.К. Трапп. Все последующие издания государственных российских фармакопей ведут нумерацию от этого издания вплоть до ныне действующего XI издания государственной фармакопей.

В XVIII–XIX веках были получены важнейшие лекарства, продлевающие человеческую жизнь: *анальгетики*, *сердечные гликозиды*, *жаропонижающие*, *ферменты* и многие другие. Появились многочисленные названия лекарств и фармацевтических групп, например: *анальгетики* (<нем. *Analgetikum* <греч. *Analgés* – обезболенный) [1]. В 1883 году Людвиг Кнорр получил синтетическим путем *Antipyrinum* (*антипирин*), с обезболивающим и жаропонижающим действием. Людвиг Кнорр стал открывателем эры анальгетиков, он же – автор названия препарата. *Analginum* (*анальгин*) получен в той же фирме в 1920 году. В 1956 году появился *Paracetamolum* (*парацетамол*); *Phenacetinum* (*фенацетин*) изобретен в фирме “Bayer”, оба названия являются фирменными.

Гликозиды (нем. *Glykosid* < греч. *Glykys* – сладкий + *eidōs* – вид) [1]. Исторически первым сахаром была глюкоза – *Glucosum*, поэтому соединения называли *глюкозиды*, однако после обнаружения других сахаров утвердилось название *гликозиды*. В 1802 году французский химик

Л. Пруст выделил из виноградного сока глюкозу (виноградный сахар). Он же и автор термина *глюкоза*. В 1785 году английский ученый У. Уитеринг рекомендовал наперстянку (*Digitalis*) для лечения сердечных отеков. В XIX веке это растение называли успокоителем сердца. Название растению в 1542 году дал немецкий ботаник Леонард Фукс по форме венчика: лат. *Digitale* – наперсток от *digitus* – палец [2]. Первый сердечный гликозид *Amigdalinum* (*амигдалин*) был выделен в 1830 году из миндаля (польск. *Migdal* < лат. *Amygdalus* < греч. *Amygdale*) [1] французским химиком П. Робике. Позднее из наперстянки был получен *Digoxinum* (*дигоксин*) [2]. Современной науке известно более 400 сердечных гликозидов.

Ферменты (нем. *Ferment*, фр. *Ferment* < лат. *Fermentum* – закваска) [1]. Термин *фермент* был предложен в начале XVII века голландским естествоиспытателем Я.Б. Ван-Гельмонтом. Начало науки о ферментах (*энзимологии*) связано с открытием в 1814 году русским химиком К.Г. Кирхгофом превращения крахмала в сахар под действием водных вытяжек из проросшего ячменя [1]. В 1836 году немецкий ученый Т. Шванн обнаружил фермент в желудочном соке, которому он дал название *пепсин* (от греч. *Pépsis* – пищеварение, переваривание) [2]. В этом же году чешские ученые Я. Пуркине и С. Паппенгейм обнаружили участие поджелудочной железы в пищеварении, они описали фермент *трипсин* (*try* от греч. *Trýo* – истирать, переваривать; *psinum* – от названия другого фермента *pepsinum* – пепсин) [2]. Название *трипсин* предложил в 1867 году немецкий ученый В. Кюне. *Химотрипсин* (*chyto* – от греч. *Chytós* – сок + *trypsinum* – трипсин) является модификацией трипсина и по действию близок к нему. В настоящее время науке известно более 700 ферментов.

Салицилаты (< *acidum salicylicum* – салициловая кислота, как источник получения всей группы салицилатов < из лат. *Salix, salicis* – ива). История салицилатов начинается с 1763 года, когда священник Эдуард Стоун сделал доклад Лондонскому Королевскому Обществу об излечении от лихорадки настоем из коры белой ивы. В 1828 году профессор химии Мюнхенского университета Иоганн Бюхнер выделил из коры ивы горькую активную субстанцию, гликозид, названный им *салицин*. В 1838 году испанский химик Рафаэль Пириа таким же образом получил *салициловую кислоту* – *acidum salicylicum*, а в 1860 году немецкий химик Герман Кольбе раскрыл ее химическую структуру и составил синтетическую салициловую кислоту. В 1897 году немецкий химик Феликс Хоффман, сотрудник фирмы “Bayer”, получил *ацетилсалициловую кислоту* – *acidum acetylsalicylicum* [2], *аспирин*.

XX–XXI век можно назвать вторым этапом формирования фармакологии. Этот период связан с успехами микробиологии, теории инфекционных болезней, химии. Великие открытия в этой области – изобретение антибиотиков и сульфаниламидов. Термин *антибиотик* (фр. *Anti-*

tibiotique < греч. *Anti* – анти, + *Bios* – жизнь) [1] ввел в 1942 году американский ученый Зельман Ваксман. В современной медицине существует более 3000 различных антибиотиков, применяются в клинической практике около 200. Например – *Пенициллин* (англ. *Penicillin* < лат. *Penicillus* – губка) [1], открытие которого было величайшим событием XX века, так как он позволил возвращать к жизни людей, страдающих неизлечимыми болезнями: крупозная пневмония, перитонит, огнестрельные ранения. Позднее были получены биосинтетические и полусинтетические пенициллины.

Сульфаниламиды (< лат. *Sulfur* – сера + амиды < фр. *Amide* < *am* (*monium*) аммоний + суфф. – *ide* < греч. *Ammoniacós* – нашатырь + *eidos* – вид) [1]. В 1934 году немецкий фармаколог Герхард Домагк обнаружил антимикробную активность *протонзила*, синонимом которого является термин *красный стрептоцид* – *Streptocidum rubrum* (*strepto* – от *streptococcus* – стрептококк, *cid* – от лат. *Occido* – убивать, лат. *Rubber* – красный) [2]. В 40-е годы было получено около 1000 синтетических сульфаниламидов, но лишь 20 из них нашли применение в клинике. Наиболее известны: *сульфадимезин*, *норсульфазол*, *этазол* и др.

Литература

1. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 2005.
2. Березникова Р.Е. Краткое справочное пособие по этимологии названий лекарственных средств. Курск, 1969.



ЧЕМ ЗАПИРАЮТ ДОМА НА ПИНЕЖЬЕ

© М. А. АНТУШЕВА

“Былинный и сказочный” край Русского Севера Пинежье благодаря своему периферийному расположению сохранил архаичный уклад жизни, поэтому до сих пор представляет большой интерес для исследователей.

Здесь, например, и поныне не принято закрывать дома и хозяйственные постройки на замок. Трудно представить себе в наше время такую открытость и доверчивость людей. Таково представление пинежан о мире, и оно находит отражение в лексической системе пинежских говоров.

Если к двери приставлена палка (*приставка*), значит, в доме никого нет, и никто не посмеет зайти, пока не появятся хозяева: *Либо хозяйка рядом, то поперёк двери поставила приставку, а далеко-то, в кольцо вдёла* (Из полевых диалектологических исследований автора статьи). Слово *приставка* в пинежских говорах регулярно встречается с ударением на первый слог [1; полевые ис. автора], отмечен лишь единичный случай произношения данного диалектизма с ударным вторым слогом (д. Кушкопала).

В других архангельских говорах фиксируется морфологический вариант *приста́в* (м. р.) со схожей семантикой: “закладываемый через железные кольца, поперек входной в избу двери, с наружной стороны, кол, лопата или грабли – для обозначения, что хозяина нет дома” (Мез., Арх., Вин.) [2, 3, полевые ис. автора]. Интересно замечание, которое дает А. Подвысоцкий о нравах сельских жителей в связи с использованием ими *приста́вов*: “Приставы, заменяющие у крестьян замки, употребительны в отдаленных от городов деревнях, где еще сохранилась патриархальная честность” [2].

Таким образом, слово *приставка* является пинежским диалектизмом, морфологический вариант *приста́в* отмечается только в архангельских говорах. Оба слова образованы суффиксальным способом от глагола *приставить*, отсюда ясна мотивация лексического значения: кол приставляют к двери.

Приставка запирает дом только с внешней стороны, однако есть универсальный запор, который закрывает двери и ворота изнутри и снаружи, в пинежских говорах он получил название *вертлюжок* [1; полевые ис. автора]. Это “запор в виде вращающегося деревянного брусочка, приколоченного к неподвижной поверхности (косяк двери и т.п.)”: *Пойдѣшь когды, воробца-то на вертлюжок заложь* (полевые ис. автора). В деревне Усть-Ежера Пинежского района зафиксировано два словообразовательных варианта: *вертлѹх* употребляется в том же значении, что и *вертлюжок*, а *вертлячок* используется для наименования другого вида замка – “запора в виде деревянного клинышка, вставляемого в петлю” [1]. Слово *вертлячок* в указанном значении отмечается только в пинежских говорах.

Другой “вид запора в виде небольшой жерди в чуланах” в пинежских говорах носит название *закид*: *В клетках ёсть закиды: батог большой упирают в стѣну, а другим концом в дѣверь, от него верѣвочка наружу* [1]. Лексема *закид* с данным значением регистрируется также в Каргопольском районе Архангельской области [4].

Среди других севернорусских говоров диалектизм *закид* отмечается только в новгородских, но из толкования, данного в Словаре [5], не ясна конструкция запора: “вид запора для двери” (Ст.). Слово *закидка* с этой же семантикой отмечается в новгородских и псковских говорах [3]. Фонетический вариант *закидь* используется в Ленинградской области для наименования того же запора, что и лексема *закид* в пинежских говорах: “небольшая жердь, употребляемая вместо замка для запирания двери в чуланах”, причем в словарной статье СРНГ дается пространное описание этого запора: “один конец кола утверждается несколько вдали от двери, в полу чулана, а другой привешивается над дверью на веревке, пропущенной с вышки через потолок чулана. По закрытии двери этот последний конец кола при помощи веревки опускают так, что он упирается в дверь чулана, и попытка отворить ее делается невозможной” [3]. Характерно, что в других местностях в памятниках письменности XVI века имеется однокоренное слово *закидка* и обозначает “щеколду, крючок” [6]. Анализируемое слово относится к семантическим диалектизмам, поскольку используется в современном литературном русском языке в другом значении [7].

Для изгородей на Пинежье используются другие виды запоров. Слово *заворы* (в пинежских говорах употребляется только во множественном числе) имеет значение “часть изгороди, где жерди убираются для проезда и прохода”: *Пойдѣм чѣрез заворы. Для завор покороче жердѣ брали, штобы раздвигать удобне было* [1; полевые ис. автора]. В единичном случае зафиксирована уменьшительная форма *заворѹцы* (д. Кузомень) [1]. Слово *заворина* отмечается в значении “жердь в изгороди” [1].

Слово *заборы* в Ленинградской области используется также в значении “ворота, калитка в ограде, заборе”, которое вытекает из первого значения [3].

Два основных значения слова *забор* и его вариантов, распространенные повсеместно в севернорусских говорах, отмечаются на всей территории России (по данным СРНГ): “разборное звено изгороди из свободно вынимающихся жердей, служащее воротами” (спорадически в русских говорах); “поперечная жердь, которой закладывают проход в изгороди”.

Таким образом, слово *заборы* (*забор*) относится к общерусской лексике. По данным Этимологического словаря славянских языков, слово *забор* является старославянским, образовано в результате сложения префикса *за-* и основы **вогъ*, отглагольное производное от **въгѣти* “запирать” [8]. Семантика этой основы вполне соответствует двум общерусским значениям диалектизма *забор*. Первое толкование “разборное звено изгороди из свободно вынимающихся жердей, служащее воротами” сохранилось в современных говорах из пяти первоначальных значений слова *забор* (*забора*), зарегистрированных в памятниках русской письменности XI–XVI вв.: “засов, запор” (XI в.); “осадное орудие” (конец XIV в.); “заграждение, застава” (середина XV в.); “препятствие” и “часть изгороди, где жерди убираются для проезда и прохода” (XVI в.) [6]. Второе значение “поперечная жердь, которой закладывают проход в изгороди” трансформировалось из семантики однокоренных слов *заворина* и *заворки*, письменные свидетельства о первом упоминании которых относятся к XVII веку: *заворина* – “перекладина, которой закладывают двери, ворота и т.п.; род засова, запора”; *заворки* – “приспособление для запора” [6]. В пинежских говорах слово *заборы* имеет только два исконных значения, а в некоторых диалектных языковых системах семантика расширилась: *забором* (или его вариантами) стали именовать столбы, изгородь, калитку и ворота.

На Пинежье существуют слова, обозначающие вообще любой вид замка, запора: *закладка* и *заложка*. Однокоренные глаголы *закладывать* и *заложить* имеют значение “закрыть дверь, ворота, дом на замок, засов, запор”. Существительное *закладка* и глаголы *закладывать(ся)*, *закладать* целесообразно рассматривать вместе: *Я ворота скорей на закладку. А мы ведь бедно жили, так век не закладывали ворот-то* [1; полевые ис. автора].

Слова *закладывать* и *закладка* регистрируются повсеместно в говорах России, но в значении “закрывать, запирать с помощью какой-либо задвижки, запора”.

Таким образом, лексемы *закладка*, *закладывать* (или более архаичная форма *закладать*) являются общерусскими. Слово *закладка* образовано от глагола *закладывать* суффиксальным способом при помощи суффикса *-к-*, а слово *закладывать*, в свою очередь, произошло от об-

щеславянского *klasti [9]. Этимологический словарь славянских языков предполагает и второй путь образования слова *закладка*: от *klad. Но эта версия кажется сомнительной, так как словообразовательная модель “глагол → существительное, обозначающее действие по глаголу”, является традиционной для русского языка.

В пинежских говорах глагол *закладывать* используется и в возвратной форме. Указанные значения являются первичными, поскольку существительное *закладка* фиксируется в памятниках письменности с конца XVII века в значении “предмет, предназначенный для запираания чего-либо (засов, крюк, цепь и т.п.)”, глагол *закладати* – с XVII века в значении “закрывать” [6]. Слова *закладка* и *закладывать* относятся к семантическим диалектизмам, так как в современном русском литературном языке употребляются в других значениях [7].

Следует отметить, что глаголы *закладывать* и *заложить* являются видовой парой. В пинежских говорах встречаются два акцентологических варианта: *заложить* и *залóжить* в значении “закрывать, запереть”: *Пойдѣшь когды, ворóцца-то на вертлюжók залóжь. Двѣри-то залóжили* [1; полевые ис. автора]. Данный глагол может употребляться в возвратной форме: *Залóжились, и не доколóтишься* (наблюдения автора). Существительное *заложка* отмечается в значении “засов, замок”: *Я двѣри на залóжку, да и не пустила егó* [1].

Лексемы *заложка*, *залóжить* распространены в русских говорах повсеместно как и слова *закладка*, *закладывать* и также имеют множество значений. Отметим те регионы, где рассматриваемые диалектизмы связаны с темой “замки и запоры”. В Архангельской области, кроме двух вариантов *залóжить* и *заложить* (Онеж., Карг.) [3], регистрируются глаголы *залáживать(ся)* (Онеж., Плес.) и *заложать(ся)* (Карг., Онеж., Плес.) с семантикой “закрывать(ся) (дверь) на задвижку, на крючок, на замок”; существительное *залóжка*, ум. *залóжечка* (Карг., Онеж., Плес.) [10] зафиксировано в значении “задвижка у двери, засов, защелка, запор у чего-н.”.

В других говорах Русского Севера в указанных значениях представлены эти же варианты глагола, и отмечены новые: *заложить(ся)*, *залóжить*, *залáживать(ся)*, *заложать(ся)*, *заложить*, *залóжать*, *залáжить*, *залóживать(ся)*. В отличие от однокоренного глагола форма и семантика лексемы *залóжка* (*залóжечка*) устойчивы в различных севернорусских говорах, что может свидетельствовать об архаичности слова.

Диалектизмы *залóжить(ся)* и *залóжка* являются общерусскими. Слово *залóжка* образовано от глагола *заложить* суффиксальным способом при помощи суффикса -к-, а слово *залóжить*, в свою очередь, образовано от общеславянского *ložitī при помощи приставки за- [9, 8].

Интересно проследить изменение семантики рассматриваемых слов во времени. Первоначально глаголы *заложити* и *заложитися* не име-

ли значения “запереть на замок”: *заложити* регистрируется с XIII века в значении “запрячь в экипаж”; с XV века в значениях “заделать, завалять, загородить”, “положить основание”, “отдать в залог”; с XVI века в значении “засунуть, вложить”; *заложитися* отмечается с XII века как “заслониться, прикрыться”; с XVI века – “стать зависимым”; с XVII века – “стать закладчиком” и “побиться об заклад” [6].

В современном литературном языке большая часть указанной семантики сохранилась, но значение “запереть на замок” диалектное, поэтому слово *заложить(ся)* относится к семантическим диалектизмам. Слово *заложка* в значении “замок, запор, задвижка” фиксируется в памятниках русской письменности с начала XVII века [6], постепенно из общерусского оно перешло в диалектное. Очевидно, принадлежностью к общепотребительной лексике XVII века объясняется широкое распространение данного слова в русских говорах и сохранение его первоначальной формы и семантики. Напротив, глагол *заложить(ся)* обладает большой вариативностью (фонетической, акцентологической, словообразовательной, семантической) в различных регионах России, однако его лексическое значение “закрыть, запереть” характерно только для говоров Русского Севера, а также Свердловской и Красноярской областей. Вероятно, глагол *заложить(ся)* получил эту дополнительную семантику от существительного *заложка* в значении “засов, запор, задвижка в двери, воротах” из-за омонимичности корня.

Литература

1. Картотека пинежских говоров Г.Я. Симиной. Институт лингвистических исследований РАН. СПб.
2. Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885.
3. Словарь русских народных говоров. Л., 1966-. Далее – СРНГ.
4. Куликовский Г.И. Словарь областного олонекского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.
5. Новгородский областной словарь. Новгород, 1992–2000.
6. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–.
7. Словарь русского языка. М., 1981–1984.
8. Этимологический словарь славянских языков. М., 1974–.
9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973.
10. Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994–1999.

Сосновый Бор
Ленинградской обл.



КАКОГО ЦВЕТА БАГРЯНАЯ КОШКА?

© С. В. КЕЗИНА,

кандидат филологических наук

Говоры славянских языков являются ценнейшими источниками для разного рода исследований, так как они сохраняют “напластования разных эпох, начиная с древнейших” [1].

Диалектный материал показывает, что цветное издревле было противопоставлено белому или черному. “Цветной или цветный, не белый и не черный, какого-либо иного цвета, окрашенный. Цветные луга, пестрые, разноцветные” [2. Т. IV]. По мнению нейробиологов, изучавших цветовое зрение, черно-белое предшествовало цветовому. “В ходе эволюции цветового зрения к уже существующей оси (черно-белая система) добавились еще две (красно-зеленая и желто-синяя системы). Это было разумнее, чем отбросить уже сложившуюся черно-белую систему, а потом создавать три новые” [3].

Представление о *черном* и *белом* создавалось на основе смыслов “темный” и “светлый”, восходящих к “тьма” и “свет”. Понятие “цвет” непосредственно связано с понятием “свет”. Цвет можно различать только при свете, поэтому цвет и свет изначально мыслились как целое. Этимологи производят оба слова от индоевропейского *kveit- : *kvoit- [4]. В словарной статье к слову *цвет* в этимологическом словаре М. Фасмера читаем: “Если принять и.-е. чередование задненёбных, то было бы возможно дальнейшее сближение со *свет*” [5].

В славянских говорах связь древнейших смыслов “свет” и “цвет” выражена, во-первых, в использовании слова *свет* в значении “цвет” (а не наоборот): “*Свет* – окраска, расцветка. Свет разный был: зеленый, синий”;

“светастый – цветастый” [6]. Во-вторых, связь понятий “свет” и “цвет” проявляется в последовательном сохранении в семантическом пространстве цветолексем значений “светлый”, “блестящий”, например: рус. диал. *бронѣть* “светлеть, отливать желтоватым, серым, красным цветом” [7], *бѣлой* “светлый, бледный, неяркий по окраске” [8], *красный* “о крутом, часто освещенном солнцем склоне оврага, берега...” [9].

Как показывает диалектный материал, цветное первоначально мыслилось как пестрое. В семантике диалектных цветолексем последовательно сохраняется значение “пестрый”: укр. диал. *рудый* “тигровой масти” (о котах, собаках), *красый* “пестрый” (о корове) [10], *красий* “красно-белой масти”, “рябой” (о животном) [11]; рус. диал. *ржавый* “о веснушчатом, с рыжими волосами человеке” [12], *красѣти* “рябить, мерцать, мелькать” [11], *красить* “изобиловать чем-то пестрым, пестреть” [13. С. 219], *бусый* “белый в крапинку” [14. Вып. 3]; блр. диал. *голубá* (о корове) “красная с белыми пятнами” [10]; укр.-блр. диал. *жэрый* (о свиньях) “свиньи в полоску – черную и коричневую вдоль хребта” (родственно укр. диал. *жэрый* “ярко-красный”) [10].

Славянские говоры отражают особую (неоднородную) многозначность слов со значением цвета. Цветолексема может сохранять неоднородную многозначность в пределах одного говора, например: укр. диал. *рудый* “коричневый”, “загорелый”, “серый” (о полотне), “рыжий”, “тигровой масти”; *багрый* “темно-красный”, “черный” (о корове) [10]; рус. диал. *голубой* “желтый” (в цвете птиц), “пепельный” (голубой конь), “серо-дымчатого с белым оперения” (голубая курица), “сиреневый” (голубая лошадь) [14. Вып. 6], “светло-синий, лазоревый, ярко-небесного цвета” [2. Т. I], “светло-серый” [15]; рус. диал. *бурый* “коричневый”, “темно-красный” [14. Вып. 3], “темно-рыжий”, “темно-серый” [15]; *красѣть* “краснеть”, “желтеть” [11]; рус. диал. *золотой* “серовато-зеленый с блеском” (в названии глины), “бирюзовый” [14. Вып. 11].

Значения одной цветолексемы могут быть “рассыпаны” по разным славянским говорам, например: хорв. диал. *гблуга* (о корове) “серая” – укр. диал. *голубá* (об овце) “серая” – босн. диал. *голубá* (о корове) “белая” – блр. диал. *голубá* (о корове) “красная с белыми пятнами” [10]. Последний ряд примеров В. А. Москович выделяет особо и относит к раритетам.

Огромный интерес представляет генерация столь неоднородных значений у цветоименований. Очень трудно вывести значение “белый” из значения “серый” и наоборот. Исследуя славянские говоры, В.А. Москович пришел к выводу, что примеры подобного типа констатируют “исчезновение промежуточного звена” в семантическом развитии слова. Вот как, например, он объясняет переход “синий > серый”: “Разумеется, переход “синего” в “серый” происходил потому, что первоначальное название обозначало не только чисто синие, но и ней-

тральные синевато-серые тона. Всегда при семантическом переходе необходимо отыскать то промежуточное звено, в котором присутствуют оба семантических компонента, помогающих объяснить путь семантического изменения" [10]. Приведем некоторые примеры из исследования В.А. Московича: укр. диал. *рудый* "рыжий" и *рудый* "тигровой масти" (о котках, собаках); укр. диал. *красый* "красный" (о корове) и *красый* "пестрый" (о корове). У исследователя есть еще один вариант разъяснения проявления столь разных значений у одного и того же слова – это фактор системной организации лексики. Он пишет: «При анализе семантических изменений необходимо постоянно учитывать фактор системной организации лексики. Например, необычное совмещение значений "голубой" и "красный с белыми пятнами" (о скоте) у одного и того же слова *голубой* в говоре дер. Шестовичи Гомельской обл. можно объяснить лишь тем, что второе значение дистрибутивно ограничено. Каждым из значений слово входит в разные подсистемы цветообозначений: общую и специализированную. Только относительная изолированность подсистем создает возможность подобного сосуществования значений (ср. сербохорв. *зелен* "зеленый" и "серый" (об овце)» [16]. Н.И. Толстой, напротив, отказывался "от представления о развитии значения как о некоей линейной цепной реакции" [17]. "Рисунки" семантических переходов, как показывает диалектный материал, свидетельствуют о разнообразии и сложности развития значений слова. Изучение семантических переходов остается одной из актуальных задач современной семасиологии.

У цветолексем в славянских говорах широко представлена оценочная семантика, например: *синее* (сущ.) – праздничная одежда. Синяя одежда – праздничная суконная одежда, даже не синего цвета [18]; *желтая* (бран.). *Еще у нас так ругали, коль не по нраву: "Желтаты!" Жёлтая, жалунница – противная ругань, не бравая* [19]; *желтый* – несчастный, горемычный, злой [20]; *белой* – чистый, вымытый, не испачканный. Здоровый, крепкий, кровь с молоком. Имеющий дымоход, выведенный наружу, через крышу (о печи или постройке) [8]; *белый лес* – лес без сучьев, с крепкой древесиной [21]. Диалектный материал свидетельствует о глобальном характере оценочности цветолексем: оценивалось всё – человек, его одежда, речь, предметы быта, орудия труда. Широкий оценочный диапазон представляет лексема *красный* в говорах русского языка.

В семантике слова *красный* сохраняется оценка предметов реально-го мира: **человека** – значимость детей для родителей (*красные* дети, детки. Сын и дочь, когда они единственные дети у родителей); благополучие (*красный* "счастливый"); рост (*красный* "большой"); силы, здоровье (*красный* "здоровый, сильный"); деловые качества человека (*красный* "славный, известный", "деятельный, энергичный, способный"); **предметов** – внешнего вида (*красный* город, *красный* берег "кра-

сивый, прекрасный”); качества “лучший, превосходный” (*красные куры; красный лён; красные веревки* “резные столбы ворот”; *красный день, денек* “ясный, погожий день”; *красная изба* “изба с изразцовой печью, с трубой, с косячатыми окнами” и “светлица” и т.д.) [14. Вып.15].

Оценочный диапазон русского диалектного слова *красный* широк и прекрасно иллюстрирует ценностные ориентиры человека, которые неизменны до сих пор: сила, здоровье, счастье, продолжение рода, энергичность, хорошие условия труда и быта.

Славянские говоры свидетельствуют также об исторических изменениях в сочетаемости цветолексем. Сочетаемость диалектных названий цвета в славянских языках, обусловленная исторической многозначностью, заметно отличается от сочетаемости в современных литературных языках, обусловленной абстрактным характером цветолексем. В славянских говорах возможные сочетания: *голубой конь* “конь пепельной масти”, *голубая курица* “серо-дымчатого с белым оперением”, *голубая лошадь* “лошадь сиреневой масти”, *голубая корова* “корова пепельно-серой масти” (рус. диал.), *голуба овца* “серая” (укр. диал.), *голуба корова* “красная с белыми пятнами” (блр. диал.), *голуба корова* “белая” (босн. диал.), *багряный бык* “пестрый, полосатый”, *багряная собака* “чисто-бурая, кофейная”, *багряное платье* “полосатое, пестрое”, *рудый комар* “рыжий”, *белые глаза* “серые или голубые”, *жаркое платье* “оранжевое” (рус. диал.), *рудая собака* “одна шерсть чорна, другая жоута” [10], *рудое лицо* (укр.-блр. диал.), *рудый кот* “тигровой масти” (укр. диал.), *черёмая корова* – “черемая корова – это как черемуха, когда она бурая” [13. С. 513], *черное яйцо* – “курочка Татарушка снесла... яйцо черно, пестро и багровисто” [14. Вып. 2. С. 34–35].

Цветолексема *жаркой* является архаизмом в современном русском литературном языке. В русских говорах слово отражено в значении “огненный, красно-желтый” (о тканях). “Жаркой цвет – как жар. У матери юбку донашивала, жаркая была, краснее, цветнее красного” [22]. В данном примере цветолексем *красный* и *цветной* употребляются в значении “яркий” (“краснее, цветнее красного”).

У лексем *багряный* в современном русском литературном языке сочетаемость ограничена (*багряный закат, багряный убор леса*). В говорах русского языка слово было полисемантическим, что и определило его широкую сочетаемость. В значении “пестрый, полосатый” оно сочеталось, в частности, со словом *кошка*: “Кошка у нас была багряная, серая с пятнами, как черные пятна” [23].

Анализ лексики цвета в славянских говорах позволил выявить в ней ряд особенностей. Во-первых, диалектный материал представляет историческую многозначность цветолексем, например: рус. диал. *белый* “серый” или “голубой” (*белые глаза*), укр. диал. *багрий* “темно-красный” и “черный” (*багряная корова*). Во-вторых, диапазон значений на

ранних этапах развития названий цвета был шире, чем современный, например: рус. диал. *золотой ручей* – ключ, родник, не замерзающий зимой; *золотой дождь* – своевременный, нужный, способствующий росту растений [14. Вып. 11]. В-третьих, семантическая и синтаксическая связь лексики цвета, представленная в говорах славянских языков, обуславливается неоднородным по составу характером ее многозначности. Отсюда – широкая сочетаемость, невозможная в современных литературных языках: *бѣлые глаза, черѣмая корова, багрѣная кошка*.

В заключение отметим уникальность диалектного материала, значительно расширяющего семантическое пространство лексики цвета и создающего условия для качественно новых семасиологических решений: рус. диал. *ржавый* “веснушчатый, рыжеволосый”, *золотой* “бирюзовый”, блр. диал. *голуба* “красная с белыми пятнами”, укр. диал. *рудый* “тигровой масти” и другие. Диалектный материал, сохранивший реликтовые значения цветолексем, позволит реконструировать недостающие в современных славянских языках звенья семантической эволюции одной из базовых лексико-семантических подсистем.

Литература

1. Филин Ф.П. Историческая лексикология русского языка. М., 1984. С. 46.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2000.
3. Хьюбел Д. Глаз, мозг, зрение. М., 1990. С. 196.
4. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. Киев, 1989. С. 369–370.
5. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. IV.
6. Словарь русских говоров Приамурья. М., 1983. С. 266.
7. Маковский М.М. Историко-этимологический словарь английского языка. Слово в зеркале человеческой культуры. М., 2000. С. 75.
8. Архангельский областной словарь. М., 1980–2001. Вып. 1.
9. Словарь русских говоров Алтая. Барнаул, 1997–1998. Т. II. Ч. 1.
10. Москович В.А. Из полесской терминологии цветообозначений // Полесье. М., 1968. С. 126–161.
11. Этимологический словарь славянских языков. М., 1974-. Вып. 12.
12. Ярославский областной словарь. Ярославль, 1981 – 1991. Вып. 8.
13. Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980.
14. Словарь русских народных говоров. Л., 1965– .
15. Словарь брянских говоров. Л., 1976 – 1988. Вып. 1.

16. *Москович В.А.* Семантическое поле цветообозначений (опыт типологического исследования семантического поля): Автореф. дис....канд. филол. наук. М., 1965. С. 15.
17. *Толстой Н.И.* Из опытов типологического исследования славянского словарного состава // Вопросы языкознания. 1963. № 1. С. 29–45.
18. *Мельниченко Г.Г.* Краткий ярославский областной словарь, объединяющий ранее составленные словари (1820 – 1956). Ярославль, 1961. С. 184.
19. Словарь русских говоров северных районов Красноярского края. Красноярск, 1992. С. 91.
20. *Кондратенко М.* Лексика народной метеорологии. Опыт сравнительного анализа славянских и немецких наименований природных явлений. München, 2000. С. 98.
21. Словарь русских говоров Кузбасса. Новосибирск, 1976. С. 29.
22. Словарь русского языка. М., 1985–1988. Т. II.
23. *Малеча Н.М.* Словарь русских народных говоров среднего и нижнего течения реки Урал. Диалект уральских (яицких) казаков. Уральск, 1964. Т. I. Ч. 2.
24. Словарь русских говоров Новосибирской области. Новосибирск, 1979. С. 14.

Пенза





“Исадами зовется песчаный берег...”

© А. В. КУЗНЕЦОВА

В ряде современных говоров широко распространено существительное *исад*. В памятниках письменности *исад* и его производные *исадка*, *исадинка*, *исадница*, *исадный*, *исадище*; *исадская грамота* фиксируются с XIV века. А.И. Соболевский в “Лекциях по истории русского языка” отмечал, что существительное *исад* образовано от сочетания глагола *садить* с предлогом *из*, сопровождающегося ассимиляцией конечного согласного предлога и начального согласного корня глагола с последующим стяжением. Однако ученый указывал, что “в современном языке древние образования в роде разинуть, разиня,.. Исад (пристань на Волге), и т.д. встречаются довольно редко” [1. С. 148].

Первичное значение слова *исад*, зафиксированное еще в Лаврентьевской и Новгородской летописях XIV–XV веков, “пристань, прибрежный поселок”: “съньмъшемъся всем на исадех на поряде. ЛН XIII–XIV 89 (1218)” [2. Т. 4]. В памятниках XV–XVII веков отмечается расширение значения: “мелкое место в воде близ берега, рыболовное угодье”: “Хто имяны рыбные ловцы, и в которых исадех. Псков. а., 333, 1643” [3. Т. 6].

В этот период появляется разговорный вариант *исада* (т.е. слово выступает в женском роде) со значением “сенокосное угодье на берегу реки” и производные *исадинка* и *исадка* – “уменьшительное к *исада*”, *исадище* – “то же, что *исад* в первом значении”, *исадница* – “то же, что и *исада*”. От существительного *исада* образовано прилагательное *исадный*, а от *исад* – *исадский*, причем для последнего выделяется фразеологическое выражение – *исадская грамота* (документ, закрепляющий право пользования рыболовным угодьем – *исадом*). Также в “Словаре промысловой лексики северной Руси XV–XVII вв.” отмечается существительное *исадник* – “тот, кто работает на пристани” [4. С. 252].

В XIV–XV веках слово получает широкое распространение в Псковско-новгородских памятниках письменности. В Псковском областном словаре с историческими данными значение *исад* определяется как “поселок у берега и рыболовные угодья при нем” [5. Т. 13]. В этом значении *исад* фиксируется в качестве архаического топонимического термина в современных псковских говорах [6. С. 48]. О.С. Мжельская относит это слово к севернорусской диалектной лексике на основании

выделения в нем особого значения “пристань, прибрежный поселок с рыбной ловлей” [6. С. 91]. В качестве доказательства ученый ссылается на И.И. Срезневского, приводившего названия рыбных ловель, принадлежащих Псково-Печерскому монастырю (“...исад большого Тросна, исад Дубицы, исад Колпино” [7]), на данные Псковской третьей летописи, где встречается наименование жителей исада – *исажене* (“А рыбу на том исаде ловили двояма неводы, и котцы, и сетми, и мережами с масленого заговена до Петрова дни, а инии исажене сказали, что тое ловли не ловят ниhto” [8]), а также на работу Н.И. Серебрянского (“исады представляли собой деревни, в которых жили монастырские рыболовы, имевшие при своих дворах огороды, пахотой исадчики не занимались” [9. С. 449]).

В Лаврентьевской летописи встречается фрагмент: “... князь же Всеволод стояв около города <...> видев брата изнаемагующа и Болгаре выслалися бяху к нему с миром поиде опять к исадам и ту на исадех Бог поя Изяслава”. Что это за *исады* и почему употребляются они во множественном числе? Обратимся к историческим фактам. В 1183 году Всеволод Большое Гнездо организует поход на Волжскую Болгарию. О маршрутах походов древнерусских князей на волжских болгар пишет В.А. Кучкин: «... когда Всеволод двигался к Великому городу, белозерский полк, оставленный при ладьях, подвергся нападению болгар. Сражение было выиграно русскими. Разбитые болгары бежали к Волге, к своим учанам. Отождествить названные в летописи пункты с современными попытался С.М. Шпилевский. Его попытку следует признать весьма удачной <...> С.М. Шпилевский выделил в бывшей Казанской губернии ареалы наименований “Соба”, “Куль”, а также “Тямти” (“Темтюзи” летописи). Подобные наименования селений и рек встречаются в бывших Лаишевском и Мамадышском уездах, к северу от р. Камы. <...> Такое расположение указанных городов объясняет свидетельство летописи, что их жители плыли к Исадам в ладьях. По С.М. Шпилевскому, они двигались к стоянке русских по рекам Меше и Каме. Челмат в летописи и есть, по разъяснению С.М. Шпилевского, татарское название Камы: Челман, Чулман. Остров Исады, где стоял русский речной флот, был, несомненно, весьма значительных размеров» [10. С. 66]. Об этом же говорит и Г.Е. Кочин в своем Словаре: “Исад – остров, служивший местом высадки войск и местом боя” [11. С. 173].

В XVII веке форма *исады* встречается и в пермских памятниках: “против деленные земли по Каме-реке берег” [12. С. 88], присутствует оно и в топонимике: деревня *Исады* Чердынского района. Исад, на котором произошло сражение 1184 года, по-видимому, топоним, получивший свое название благодаря крутому, невысокому берегу реки, удобному для причаливания судов. В современных говорах существительное *исады*, имеющее богатую топонимическую историю, получило широкое распространение [13. Вып. 12]. Таким образом, существитель-

ное *исад* принадлежит к общевосточнославянской лексике, о чем свидетельствует ареал его распространения, который невозможно объяснить влиянием какого-либо определенного диалекта.

Литература

1. *Соболевский А.И.* Труды по истории русского языка. М., 2004. Т. 1
2. Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. М., 1988–.
3. Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–.
4. Словарь промысловой лексики северной Руси XV–XVII вв. М., 2003.
5. Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967.
6. *Мжельская О.С.* Местная лексика в псковской деловой письменности XIV–XV вв.: Дисс. ... канд. филол. наук. Л., 1956.
7. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893. Т. 1.
8. Картотека словаря русского языка XI–XVII вв. Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
9. *Серебрянский Н.И.* Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле. М., 1908.
10. *Кучкин В.А.* О маршрутах походов древнерусских князей на государство волжских болгар в XII – первой трети XIII в. // Историческая география России XII – начала XX в. М., 1975.
11. *Кочин Г.Е.* Материалы для терминологического словаря древней России. М.-Л., 1937.
12. *Полякова Е.Н.* От “араины” до “яра”. Пермь, 1988.
13. Словарь русских народных говоров. Л., 965.



ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РОССИЙСКИХ ФАМИЛИЙ

© В.О. МАКСИМОВ,
директор Исследовательского центра
“История фамилии”

Гордый. Фамилия образована от абсолютно понятного прозвища *Гордый*. Но прилагательное *гордый* в прошлом имело и значение “грозный, жестокий”. А в вологодских говорах в конце XIX века отмечено его употребление в значении “смелый”: “Он у меня такой паренек гордый: небось, не струсит”.

Двойченков. Имя *Двойка* или *Двойко* могли дать одному из близнецов или же второму сыну. Сын *Двойки* (*Двойка*) – *Двойкин* или *Двойков*, *Двойченок* или *Двойченко*. Форма же *Двойченков* могла возникнуть в третьем колене (*Двойченков* – внук *Двойки-Двойка*) или в результате “стандартизации”. Например, в грамоте 1593 года упоминается елецкий помещик Федор Васильев сын *Двойченков*. Этот пример особенно интересен тем, что прекрасно демонстрирует – русские фамилии с окончанием на *-енков* – не результат поздней русификации украинских фамилий, а процесс более древний. В XIX веке известно бытование фамилии *Двойченков* среди жителей Воронежской, Орловской и Тамбовской губерний. В конце XVI века в новгородских землях существовала деревня с названием *Двойково*.

Компанейщиков. История образования этой фамилии восходит ко времени первых преобразований Петра I. Преимущественно с этого времени в России стали появляться так называемые “компании” (само

слово *компания* было известно еще с 1634 года) – объединения предпринимателей – торговцев или промышленников, держателей акций и т.п. А *компанейщиками* или *компаничками* стали называть члена какого-либо объединения, товарищества (т.е. на современном языке мы бы сказали *держатель акций предприятия, бизнесмен*). Так, в документе XVII века говорится: “И в т задаточные денги... договорились компанчики сложитца с двора по 8 алтын, по 5 денег”. Обычно это были выходцы из купеческого сословия, но не исключено, что ими могли быть и другие свободные люди – мещане, крестьяне Русского Севера (где, как известно, крепостного права не было). *Компанейщиками* называли и управляющих винными сборами. В старинных документах упоминаются: Иван Яковлев сын Мушников, *компанейщик* суконной фабрики в Москве (1720); Яков Кузьмин сын Рюмин, *компанейщик* игольной фабрики в Санкт-Петербурге (1727); Алексей Спиридонов сын Аникиев, *компанейщик* шелковой мануфактуры в Москве (1739); Иван Ильин сын Рыбинский, купец первой гильдии в Басманной слободе и *компанейщик* московских питейных сборов (1742).

Материков. Значение старинного русского прозвища *Материк* восходит к сохранившемуся с давних времен прилагательному *матёрый*, имевшему множество значений “крепкий, здоровый”, “бойкий, проворный”, “большой, огромный” и даже “лютый”, “жестокий”. Последнее значение этого прозвища было известно в ярославских говорах еще в начале XX века. Интересно, что *материком* здесь называли и старого, большого волка – вероятно, отсюда и возникло переносное значение “жестокий”.

Любопытно, что великий русский поэт Николай Алексеевич Некрасов, будучи уроженцем Подольской губернии, в 1831–37 годах учился как раз в ярославской гимназии. Возможно, именно “ярославское воспитание” стало причиной появления в поэме “Генерал Топтыгин” строк: «Видит – барин материк, “Генерал”, – смекает. Поспешил фуражку снять: “Здравия желаю!”». Разумеется, *Материком* могли прозвать необычайно сильного, крепкого, бывалого, рослого или же энергичного, вспыльчивого, обладавшего весьма непростым характером человека (таким же образом возникли, например, прозвища *Скорик* и *Быстрик*, т.е. “скорый, быстрый человек”, или *Рыжик* и *Рудик*, т.е. “рыжеволосый”). Северо-восточное происхождение редкого старинного прозвища *Материк* подтверждают и древние грамоты. Так, в грамоте 1655 года записан Евтюшка *Материк*, промышленный человек в Сибири; а в грамоте 1693 года упоминается Максимко *Материков*, вытегорский волостной человек.

Плетминцев. Симбирская фамилия *Плетминцев* восходит к названию села *Плетья*, сохранившегося до наших дней в Ульяновской об-

ласти. Уже в XIX веке бытовала фамилия *Плетминцев* среди жителей Симбирска и села Воронье Мокшанского района Пензенской губернии.

Педынин. Южнорусская фамилия *Педынин* восходит к довольно распространенной в прошлом в украинских говорах народной форме крестильного имени *Феодор – Педына*. Существует и более “прозрачный” вариант – *Федынин*. Такая замена *п* вместо *ф* была явлением распространенным: *Педко – Федко*, *Панаско – Афанаско*, *шкап – шкаф*, *пура – фура* и т.д. Например, в списках запорожских казаков в 1649 году записаны *Педина* Дрозденко, *Педина* Кузенко, *Педина* Зятковский, казаки Уманского полка и *Педина* Василенко, казак Полтавского полка (украинское *и* произносится как *ы*). В этом же списке упоминается и казак Уманского полка Карп *Пединин* брат.

Плякин, Пляка. Известное в прошлом в украинских и южнорусских говорах мирское имя *Пляка* можно объяснить буквально как “сосунок”, “любимое дитя”, “малютка, кроха”, “неженка”. Значение имени связано с диалектным глаголом *плякати, плякатися, плекати* – “холить, нежить”, “сосать молоко”. Но глагол *плякати, плякатися* имел и еще одно значение – “поить с пальца ягненка, теленка, оставшегося без матери”. Поэтому *Плякой* могли назвать и сироту, ребенка, еще в младенчестве лишившегося матери. В 1649 году в “Реестре Войска Запорожского” упоминаются казаки: Ярема *Пляка* (Корсунский полк) и Мартин *Пляка* (Уманский полк); в Ревизии Миргородского полка (1723 г.) – казак Семен *Пляка*. А фамилия *Плякин* в XIX веке нередко встречается в документах белгородских, рязанских земель, в Области войска Донского и в Ставропольской губернии.

Рещиков, Резчиков. “Мещанской слободы Василей Михайлов сын, рещик, подрядился Книгопечатного двора у наборщика у Григорья Иванова сына Устинова зделать на Новом денежном дворе вырезать у ворот два столба больших с полуступами и с коптельми да четыре каптели больших, да у ворот карниз большой резан, лябры в откосе... А вырезать те рези в сентябре месяце сего ж году” – такая запись сохранилась в московской грамоте первой четверти XVIII века. *Рещик* – весьма распространенное в прошлом написание названия профессии *резчика*, т.е. мастера, занимавшегося резьбой (гравюрой) по дереву или камню, изготовлением различных резных изделий. Так, в документах Ростовского архиерейского дома упоминаются: иконописец Григорей *Рещиков*, Николай *Рещиков*, писец экономической и казначейской канцелярии (1759). Но позднее написание многих фамилий было исправлено в соответствии с правилами русского литературного языка, и в настоящее время значительно чаще встречается более понятный вариант написания этой фамилии – *Резчиков*.

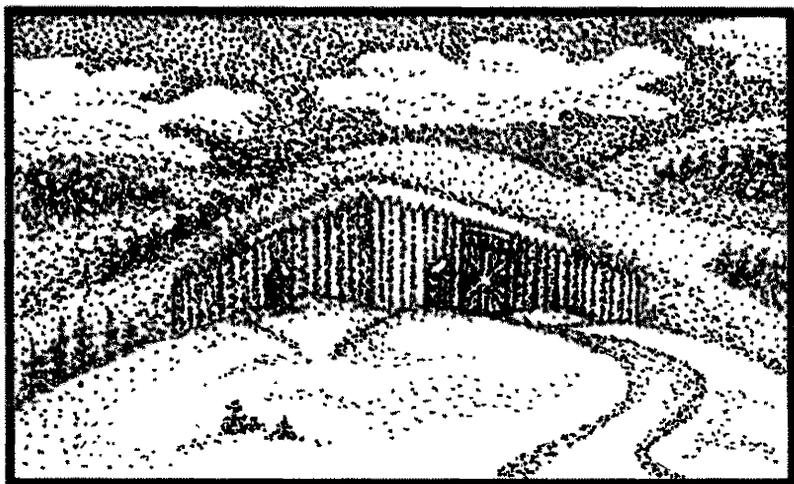
Церковников. *Церковниками* называли людей, служивших при церкви, но не имевших церковного сана, например, пономаря, сторожа, просвирника, а также церковного старосту – ктитора. Это название было общеупотребительным во всех русских говорах. Так, в грамоте 1676 года по Шацкому уезду записано: “У тоя часовни двор попов, два двора церковниковых, церковные земли дватцать четвертей”. В другом документе, датированном 1710 годом, в Чердыни упоминается “Церковь Нерукотворного образа Спасова в городе, другая Живоначальные Троицы деревянные, а у тех церквей попа нет только церковники”. В переписи Санкт-Петербургского острова 1718 года среди постояльцев отмечен “церковник с женой, который учит всяких чинов людей робыт словенской грамоте”. В перечне харьковских шинков 1799 года упоминается один шинок, который нанят был церковником Фотием Титаревым (т.е. этот Фотий – сам сын церковника: *титар* – ктитор). А в городе Рыльске (Курская область) в 1619 году записан Иван *Церковников*.

Чернопазов. Прозвище *Чернопаз* известно в прошлом в северных русских землях: так могли прозвать обладателя весьма непростого характера, вероятнее всего, сквернословия. Это прозвище восходит к севернорусскому глаголу *пазить* – “ругать”, “ругаться”: аналогично возник и более распространенный вариант этого прозвища, известный во многих русских говорах – *Чернобай* (от общерусского глагола *баить* – “говорить”). Вероятно, встречалось прозвище *Чернопаз* только на очень небольшой территории, а именно – в пермских землях (и некоторые из современных представителей этой фамилии, живущие в различных регионах России, знают, что их предки были выходцами из этих земель). Пермское происхождение фамилии подтверждает и известный ученый Е.Н. Полякова. В своей книге “Словарь пермских фамилий” она приводит примеры из древних грамот этого региона: Якушко *Чернопазов*, чердынец (1682); Нестерко *Чернопазовых* (1683); Ефим Тархов сын *Чернопазовых* (первая половина XVIII в.); Влас Васильев сын *Чернопазов*, житель селения Бондюг (1711).

Продолжение следует

Желающие задать вопрос или предложить свои дополнения к материалу, опубликованным в этом разделе, могут воспользоваться электронной почтой: dialog@familii.ru (письма отправлять с пометкой “Толковый словарь российских фамилий”) или посетить сайт Исследовательского Центра “История фамилии”: www.familii.ru

Топонимика

**От Плотбища к Чите**

© Т. В. ФЕДОТОВА,
кандидат филологических наук

Как известно, одно из удивительных свойств имен собственных, а именно топонимов, – хранить историческую память, содержать богатейшую информацию о древних языках и народах. Как справедливо отмечает А.К.Матвеев, «имя – ключ ко многим проблемам истории человечества и его языков, так как ни в одной другой сфере языка не выражено с такой силой слияние “своего” и “чужого”, возможность которого обусловлена самими свойствами имени, способного даже при поверхностном контакте преодолевать языковые границы, временные рамки и территориальные рубежи» [1. С. 10–11].

Топоним *Чита* относится к числу наиболее загадочных и до сих пор до конца не объясненных с точки зрения происхождения названий. Основное свое внимание мы хотели бы, в первую очередь, обратить на историю, так как именно в ней скрыты мотивы трансформации топонима *Чита*.

Как свидетельствуют ученые, история Читы ведет свой отсчет с 1680-х годов. Здесь следует отметить, что название *Чита* – это не только и не столько город, а в первую очередь река, омывающая дан-

ный населенный пункт. Следовательно, нам необходимо проанализировать топоним, во-первых, с точки зрения этимологии, а уже, во-вторых, с позиции транstopонимизации (перехода топонима одного вида в другой: в данном случае гидронима в ойконим).

Версии относительно происхождения названия *Чита* многочисленны и разнообразны, и каждая из них имеет свою сопричастность к имени, так как отражает достоверные факты из географии, истории, жизни и быта людей, связанных с освоением данной территории: название произошло от собственного эвенкийского имени *Чита*; от эвенкийских слов *чата* или *чатала*, что в переводе означает “глина”; от ороченского *чита* – “береста”; эвенкийского *чатэ* – “черная земля, уголь”; от уйгурского *чыт* – “жилище, крепость”; истоки слова нужно искать в языке одного из народов Дальнего Востока – нивхов, у которых *читы* обозначает колодец; слово *чита* носит собирательный характер и в переводе с языков народов Восточной Азии обозначает “вода” [2. С. 6].

Каждая из версий имеет свое право на существование. В топонимических исследованиях последних лет можно найти точки зрения, подтверждающие правомочность любой из названных. Так, имя собственное в основе топонима *Чита* свидетельствует о существовавшей традиции именнаяречения, присущей эвенкам. Кроме этого, к наиболее распространенным принципам наименования географических объектов среди нерусских топонимов, по мнению Р.Г. Жамсарановой и Л.В. Шулуновой [3] является характерный принцип для многих народов, где основное внимание при создании имени было обращено к свойствам и качествам объекта, возможности его использования в хозяйственных целях. Эта версия в настоящее время является наиболее вероятной. Так, Е.М. Поспелов в своем топонимическом словаре “Географические названия мира” в качестве мотивировки возникновения топонима ссылается именно на физико-географические характеристики почвы: “Название р. Чита (эвенк. “глина”) отражает реальные особенности грунта ее долины, которая сложена, особенно в нижней, приустевой части, глинисто-илистыми вязкими речными наносами” [4. С. 464].

Что же касается многочисленной внешней трансформации топонима, то здесь необходимо вспомнить некоторые периоды истории города.

Плотбище. “С Читы-реки новой слободы с плотбища прикащик Карпушка Юдин челом бьет”, – так писал в 1688 году (или 1689) нерчинский казак, десятник Карп Юдин послу Федору Головину, сообщая о выполнении важного поручения: принятии хлебных запасов на так называемом *Читинском плотбище* [5. С. 73]. Само слово *плотбище* образовано от *плот*, хотя в первых записях название *Плотбище* писалось как апеллятив и через букву *д*: *плодбище*. В “Словаре русской

народно-диалектной речи в Сибири XVII – первой половины XVIII в.” *плотбище* интерпретируется как место на берегу реки, где строят суда: “...А на другой стороне была у них пло[т]бища: делали большия коломенки, чтобы можно им со всем убраться” [6. С. 106]. Первоначально Плотбище на реке Чите являлось одной из баз, организовывавшихся царским полномочным послом для хранения хлебных запасов. Первые письменные известия о селении Плотбище содержатся в путевых “Записках о русском посольстве в Китай (1692–1695 гг.)” посла Избранта Идеса и секретаря посольства Адама Бранда, которые отмечали, что прибыли “в селение, называемое Плотбищем, в котором было шесть домов; маленькая речка Чита омывает это лишь недавно обжитое место” [7. С. 84]. Забайкальский краевед В.Ф. Балабанов в своей книге “История земли Даурской” по этому поводу пишет: «Место на устье реки Читы было выбрано во всех отношениях очень удобным. Место слияния реки Читы с рекой Ингодой отвечало условиям своеобразного “закрытого” речного порта. Здесь, начиная от устья и на протяжении двух верст по речке Чите под прикрытием береговых зарослей, можно было расположить не менее сотни плотов, всегда в летнее время готовых к погрузке и передвижению; к погрузке в них грузов, продовольствия, людей и сплаву вниз по реке Ингоде. Здесь у плотбища заканчивался сухой путь по Нерчинской дороге» [8. С. 136].

Читинский острог – Читинская слобода – Читинск. В 1686 году в Нерчинский край на китайскую границу прибывает русский посол Ф.А. Головин с предписанием восстановить разрушенные остроги и расширить сеть поселений. Именно в это время, по мнению М.Ю. Тимофеевой, в документах начинают появляться сведения о Читинском остроге, одновременно носящем название *Читинской слободы* или *Читинска* [9. С. 9]. В административном делении XVIII века в Нерчинском уезде было несколько поселений с названием *Острог: Нерчинский, Албазинский, Аргунский, Сретенский, Яравнинский, Теленбинский* и *Читинский*. Как отмечает В.Ф. Балабанов, «все это были казачьи укрепленные поселения, огороженные от набегов и приступов местных кочевников “острогом” – вертикально вкопанными в землю бревнами (палями), заостренными вверху. Рядом с этими острогами вырастали слободы, поселения так называемых “инокомандных” людей, приобретаая то же административное название» [8. С. 183]. В свою очередь, слобода – сибирское сельское поселение в несколько дворов, в котором жили вольные люди, то есть временно освобожденные от повинностей. Как правило, слобода быстро разрасталась в большое селение [5. С. 71].

Предположительно в начале XVIII века Читинская слобода переустраивается в острог [5. С. 74]. К концу XVIII века все остроги были или ликвидированы, или преобразованы, но за поселением в устьевой

части реки Читы сохранилось административное название *Читинский острог* [8. С. 183].

По поводу названия *Острог* А.Р. Артемьев, исследователь памятников XIII–XVIII веков в Прибайкалье, Забайкалье и Приамурье, пишет следующее: «8 июня 1735 г. Читинский острог посетил Г.Ф. Миллер. Согласно его описанию, “этот пункт называют острогом, злоупотребляя названием, как и в случае со Сретенским острогом, хотя, как и последний, он никогда не был укреплен палисадом”. Ввиду этого надо полагать, что термин “острог” применительно к Читинской слободе означал придание ему административной функции, равной другим Нерчинским острогам. В 1735 г. к острогу было приписано 19 деревень» [7. С. 85].

В 1750–1760-е годы в связи с усилением роли казачьих формирований в охране границ и активизацией горнозаводских работ происходит некоторое перераспределение обязанностей забайкальского населения. Читинский острог, сохраняя за собой это название, как казачий форпост утрачивает значение и превращается в обыкновенную деревушку [5. С. 74]. К началу XIX века Читинский острог представлял собой небольшое селение с одной деревянной церковью и часовней, с 26 домами, из которых 16 были крестьянскими избами.

Только с 1823 года Читинск превратился в административный центр Читинской волости, где был учрежден Сельский приказ [9. С. 12–13].

Чита. Восстание 14 декабря 1825 года, всколыхнув всю Россию, способствовало тому, что “мало кому известное ранее селение, приобрело не только всероссийскую, но и европейскую известность” [2. С. 8]. Первая партия “государственных преступников”, как именовали декабристов официальные документы, прошла по Чите осенью 1826 года, направляясь в Благодатский рудник. Чита к этому времени уже утратила название *Острога* и во всех документах именовалась *Читинским селением*. Однако по-прежнему существовал ряд неофициальных (почтовых) названий: *Чита*, *Читинск*, *Чита за Байкалом*, *Читинский острог*. Название *Чита* чаще всего упоминалось в корреспонденции декабристов [2. С. 8].

Чита получила ранг областного центра Забайкалья 11 июля 1851 года. Как отмечает В. Немеров, “в том, что Чита стала городом, велика заслуга генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского, оценившего центральное положение Читы по отношению к территориям новой области. По свидетельству современников, на решение Н.Н. Муравьева большое влияние оказал живший в Чите на поселении декабрист Д.И. Завалишин” [2. С. 10]. Кроме этого, одним из факторов, повлиявшим на быстрый рост населения, а следовательно и города, явилась добыча золота. Так, в период с 1851 по 1897 год Чита выросла более чем в 16 раз и “по численности населения вышла

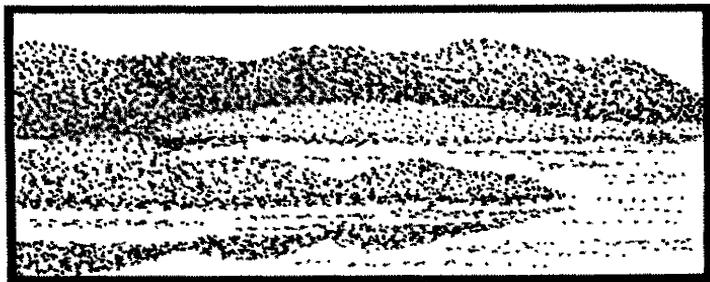
на третье место в Восточной Сибири после Иркутска и Красноярска” [2. С. 11].

Таким образом, топоним *Чита* приобрел свой внешний вид, испытав различные исторические и лингвистические процессы, когда гидроним *Чита* превратился в ойконим *Чита*.

Литература

1. Матвеев А.К. Ономатология. М., 2006.
2. Немеров В. Чита. История. Памятные места. Судьбы. Чита, 1994.
3. Жамсаранова Р.Г., Шулунова Л.В. Топонимия Восточного Забайкалья. Чита, 2003.
4. Поспелов Е.М. Географические названия мира: Топонимический словарь. М., 2002.
5. Константинов А.В., Константинова Н.Н. История Забайкалья (с древнейших времен до 1917 года). Чита, 2002.
6. Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII – первой половины XVIII в. Новосибирск, 1991.
7. Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII – XVIII вв. Владивосток, 1999.
8. Балабанов В.Ф. История земли Даурской. Чита, 2003.
9. Тимофеева М.Ю. Читинский острог в XVIII веке // Забайкальский краеведческий ежегодник. 1971. № 3.

Чита



“Птичьи” обращения в причитаниях на Вологодчине

© Е. Ф. ЮГАЙ

В фольклорном слове заключены и обрядовый смысл, и образно-поэтическое звучание, которые тесно связаны между собой. В похоронных и поминальных причитаниях (причётах) запрет называть умершего по имени или степени родства породил систему метафорических замен, т.е. образных наименований оплакиваемого и самой плачеи. Среди них как наиболее важные можно выделить “птичьи” обращения к оплакиваемому.

Птицы в причётах встречаются часто: как сюжетный элемент (мотив прилета птицы на могилу), в ряду обращений к стихиям (*гуси серые*), как наименование плачеи самой себя (обычно *кукушица*) и, не в последнюю очередь, как обращение к оплакиваемому. *Ласточкой, голубочком, соколычком* называет его плачея.

Обращение может и не развиваться в цельный образ, и текст продолжает длиться так же, как после любого ласкового обращения. Например:

Моя косатая ла... о-ё-ё ...сточка,
Моя родимая се... о-ё-ё ...стрица! Да
Коль бело ты умы... о-ё-ё ...ласе, да
Коль бодро нареди... о-ё-ё ...ласе, да
Далёко ли среди... о-ё-ё ...ласе? [1. С. 169].

В другом случае превращение в птицу входит в “сборы” оплакиваемого на тот свет. Превращение это происходит путем обретения крыльев, которые “вырастают” по желанию умершего (обычно переход в иной мир в причитаниях рисуется как замысленный и осуществляемый по желанию умершего):

О-ё-ёй, дак ты бело жо умыласе,
О-ё-ёй, дак ты баско всё наредиласе,
О-ё-ёй, ты приотростила крылышки,
О-ё-ёй, дак ты навела се пёрышка! [1. С. 146].

Возможно, что обретение крыльев как средства пересечения границы между миром живых и миром мертвых является первичным для образа птицы. Крылья помогают улететь не вверх, а в *могилушку, сырую*

землюшку. Птица, таким образом, связывается не с небом, а с полетом, с возможностью передвижения, отличного от человеческого.

В обращении к одному адресату могут одновременно присутствовать разные птицы:

Сизая, ты голубушка,
Моя родимая сестрица,
Дак я тебя, лебедь белая
Попрошу, поконаюсе... [2. Касс. 836].

К отцу или брату чаще обращаются *ясен сокол*, к матери, сестре – *бела лебедь*, иногда *косата ласточка*. Здесь прослеживается связь со свадебным обрядом, где роли птиц строго закреплены: соколу присуща мужская символика, а ласточке и лебедю – женская. Свадебный обряд знаменует собой переход, приравнивание невесты к птице в причётах, песнях, вышивках. Как будто женщина на время становится птицей.

В похоронном причёте сочетание образов *ясна сокола* и *высокого терема* (традиционных идеализированных наименований умершего и его дома) создает впечатление близости к небу и торжественности, как и тавтологичный эпитет, знаменующий предельность качества вечности: “Полетел-то, ясен сокол,/Да из высокого терема,/Да на веки-то вечные ...” [2. Касс. 152].

В плачах по умершим преобладает называние *голубем*. Слова, которыми обозначают голубя, бывают и мужского, и женского рода (*голубушка*, *голубок*), в целом же эта птица символически не привязана к определенному полу. Пол связан с жизнью, а причитания невесты не только знаменуют собой конец старой жизни, но и готовят ее к новой, даже более земной, чем прежняя. Поэтому в них гендерная символика птиц более важна, чем в похоронных и поминальных. В одной из первых публикаций вологодского плача встречается обращение *голубчик*: “Наприниматьсьё горе-горкким./Без тебя, без голубчика,/Много нужды да бедности” [3. С. 782].

В последних записанных плачах обращение *голубушка*, *голубочек* также встречается чаще других. И хотя это слово как ласковое обращение утрачивает значение птицы, в поэтическом тексте оно остается и актуализируется с помощью упоминаний перышек, крыльев и полета.

Вопленица часто называет себя *глупою*, а умершую – *голубушкой*. Эта *глупость* плачей и *голубиность* оплакиваемой роднит их, делает обоих беззащитными перед судьбой. Ведь слово *глупый* означает “пораженный божеством”, “потерявший разум от страха перед божеством или явлением природы” [4. С. 125].

При этом голубь, как лебедь и ласточка, относится к “чистым” птицам, за ними закреплены светлые, положительные ассоциации, к ним относятся с почтением. Голубь считался любимой Богом птицей, “во-

площением добра и кротости” [5. С. 612], “в виде голубя Св. Дух сошел с небес во время Крещения Иисуса” [5. С. 613]. В сознании людей голубь связывается со страданием (кротостью – принятием страдания), а значит – посмертной наградой.

Слово *белый* часто встречается в текстах причётов в качестве тавтологического эпитета (*белый свет*), пояснительного, характеризующего предмет по отношению к идеалу (*белый хлеб*), в том числе в составе сложных слов (*столы белодубовы*). Что касается наименований птиц, эпитет *белый* связан с лебедем, но никогда с голубем. Если *белый голубь* – символ Святого Духа, то *сизый* (более обычный, не такой яркий, но той же природы) – души любого человека. *Сизый* может относиться не только к слову *голубушка*, но и к связанному с ней (перья): “О, э-те мене, дак навела сизо пе...ерьицо,/О, э-те мене, дак приотростила кры...ильицо,/О, э-те мене, да спорхонуть ладит у...литить” [2. Касс. 836].

Голубь, “чистая, святая, Божья птица” [5. С. 612], таящая в глубине своей символики опасность и горе, непонятное (говорящее на своем непонятном языке) и такое обыденное существо – это идеальный символ души, отлетающей в мир иной.

Формально птичьи наименования тоже имеют ряд особенностей. Названия птиц требуют постоянного эпитета: *голубушка – сизая, сокол – ясный, ласточка – косатая*. Словосочетание становится единым целым, целиком поддается изменению (например, прибавлению уменьшительно-ласкательного значения): *ясен сокол* [1. С. 136], *соколочек ясененький* [1. С. 121].

Конкретные названия птиц включаются в последовательность из четырех слов: метафорического и прямого наименований умершего человека с эпитетами. Какая-то часть может опускаться, но в полном виде выглядит так: “Ох, э-те мене, дак сизая ты голу...убуш(и)ка,/Ох, э-те мене, моя родимая се...естрица” [2. Касс. 837].

Метафорическое наименование соотносится с конкретным человеком. Ритмически это создает повтор, эмоционально – присутствие образа в плаче одновременно в двух ролях: обыденной и сакральной женщины и птицы.

С утратой магической функции строгость системы метафорических замен разрушается, размывается и четкость в обращениях. Остается главное – посыл жалости в ласковом назывании. *Голубушка* встречается и в причётах, записанных недавно.

Ой да, моё красно солнышко,
Да, дорогая подруженька,
Ой так ты лежишь-то голубушка
Ой да не на месте-то в суточках... [2. Касс. 524].

...Дак, моё красное солнышко,
Да, дорогая ты Валюшка,
Дак не опускай-ко ты, голубушка,
Своево ладу милого... [2. Касс. 524].

Плачя использует одинаковые наименования (*красно солнышко, голубушка*) при обращении к любому адресату, будь то умершие или оставшиеся сиротами.

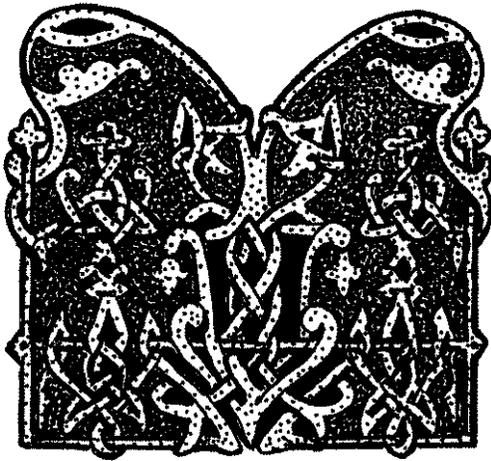
Если плач представляет собой не обращение, а рассказ, умершую все равно называют метафорически:

Глубоко мы схоронили,
Далеко мы положили,
Сизую-то голубушку,
Мою родимую сестрицу [2. Касс. 836].

Птицы, упоминаемые в причётах, на первый взгляд, обыденны. С другой стороны, их присутствие в текстах обусловлено традиционной системой метафорических замен, базирующейся на богатой древней символической системе. Из обращения развивается цельный образ, и в причётах реализуются два основных мифологических значения птицы: душа и медиатор. Главным здесь становится функционально важный признак – крылья. Свойства птицы передвигаться в недоступной человеку стихии, воздухе, которая отделяет землю (где живут) от неба (куда посмертно попадает душа), переносятся на образ души, покинувшей тело.

Литература

1. *Ефименкова Б.Б.* Севернорусская причеть. М., 1980.
2. Архив ГОУ ДОД ДЮЦ “Школа традиционной народной культуры”. Вологда, 1998–2003. (Аудиозаписи, рукописи).
3. *Шейн П.В.* Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах. СПб., 1900. Т. 1. Вып. 2.
4. *Маковский М.М.* Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 1996.
5. *Гура А.В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.



ЛИТЕЙНОЕ ДЕЛО

© И. Е. КОЛЕСОВА

Лексика литейного дела как единая система в рамках конкретного исторического корневого гнезда до сих пор не была предметом специального исследования, хотя входящие в нее лексемы рассматривались во многих работах [1, 2].

Литейное производство – это один из наиболее древних видов обработки металлов, с которыми познакомилось человечество. Группа связанной с ним профессиональной лексики возникла в рассматриваемом гнезде уже в праславянский период, когда у глагола **liti* развилось специализированное значение “изготавливать из расплавленного вещества” [3. Вып. 15]. По данным Словаря, на основе этого глагола появилось 15 производных лексем, связанных с литейным производством: **liti*, **lijati* и **lěvati* “изготавливать из расплавленного металла” [3. Вып. 15]; **naliti* и **nalivati* “отливать из металла” [3. Вып. 22]; **lěvьльъ*, **lityь* “связанный с литьем”, **lijateljь*, **livьсь* и **lityсь* “литейщик”, **lijanjьje* и **lityje* “опредмеченное действие”, **lityje* “предмет из металла”, **litva* и **lityba* “собр. литейщики” [3. Вып. 15]. Кроме того, в современных справочниках и в специальной литературе по литейному делу фиксируются лексемы *облить* “покрыть расплавленным металлом” и *облой* “дефект отливки в виде выступа” [4, 5]. С точки зрения словообразования лексема *облой* представляет собой разновидность глагола *облить*, на восточнославянской почве эта словообразовательная модель, характерная для праславянского языка, утрачивает продуктивность уже в древ-

нерусский период [6. С. 284–285]. Эти факты дают основания восстановить в гнезде глагола *лить* на праславянском этапе словообразовательную цепочку **liti* > **obliti* “покрыть расплавленным металлом” → **obloj* “дефект отливки”.

В древнерусский период, по данным словарей, лексико-семантическая зона *литейное дело* в рассматриваемом гнезде увеличивается в объеме по сравнению с праславянским периодом, а в памятниках древнерусского периода встречаются еще девять однокоренных слов: *лит* “изготовленный литьем”, *лижаньи* “изготовленный литьем” [7. Т. 4]; *вылити* “изготовить литьем” [8. Вып. 3]; **перелити* “изготовить литьем заново”, *переливати* “изготавливать литьем заново” [Там же. Вып. 14]; *полити* “переплавить несколько предметов”, *поливаније* “процесс переплавки” [Там же. Вып. 16]; *отлити* “изготовить из металла”, *сливати* “соединять в плавке” [Там же. Вып. 25].

В то же время, три лексемы – **lěvati*, **lěvъpъjъ*, **lityba* [3. Вып. 15] в древнерусских памятниках не фиксируются, что в основном связано с разрушением синонимии. Утрата лексемы **lityba* при сохранении ее словообразовательного синонима **litva* объясняется, вероятнее всего, тем, что суффикс *-b(a)* в русском языке используется для образования существительных со значением отвлеченного действия (ср. *ходить* → *ходь / б(а)*), а суффикс *-v(a)* выражает значение собирательности (ср. *лист* → *лист / ва*) [9]. Таким образом, при разрушении словообразовательной синонимии сохраняется лексема, суффикс которой более четко выражает значение собирательности.

В рамках лексико-семантической зоны продолжает сохраняться вариативность, формируются три ряда словообразовательных синонимов: “литейщик” – **литець*, **ливець*, *лижатель*, **литва* [8. Вып. 8]; “изготовленный литьем” – *литой* [Там же]; *лижаньи*, *лит* [7. Т. 4]; “процесс изготовления чего-либо из расплавленного металла” – *лижанье*, *литье* [8. Вып. 8]. По мнению исследователей, чаще всего понятие “литейщик” в памятниках древнерусского периода обозначалось термином *ливець*, параллельно с которым употреблялся и *литец*, отраженный в памятниках письменности XVI века [1. С. 94].

Увеличение количества производных от глагола *лить* в древнерусский период связано с активизацией словообразования, которое было обусловлено развитием категории глагольного вида и способов глагольного действия. Формируются новые словообразовательные цепочки, например: *лити* → **перелити* “изготовить литьем заново” → *переливати* “изготавливать литьем заново” [8. Вып. 14]; *лити* → *вылити* “изготовить литьем” → *выливати* “изготавливать литьем” [8. Вып. 3]; и *лити* → *слити* “изготовить из металла” → *слияти* “отлить из металла” [8. Вып. 25]. При этом приставки *вы-* и *пере-* добавляют в значение глагола сему “доведение действия до предела”; *по-* обозначает направленность действия на множество объектов одновременно или последова-

тельно; *с-* конкретизирует действие по его цели, а суффиксы *-ва/-ја-* образуют видовые пары.

В старорусский период функционирование лексико-семантических зон протекало в условиях противопоставления книжно-письменного языка, опиравшегося на генетические славянизмы, и разговорного, собственно русского языка, на основе которого возникал деловой стиль, так называемый “приказной язык” [10. С. 6]. Для лексической системы устоявшихся промыслов в старорусский период впервые зафиксированы лексемы, образующиеся по модели: «глагол + *-ниј-*, *-к-* → существительное “название технологического процесса”» [11. С. 122]. В рассматриваемом нами гнезде *лить* отразились все эти тенденции.

Дальнейшее развитие ремесла было связано с усложнением технологического процесса, появлением нового оборудования и, как следствие, развитие более детализированного наименования объектов, связанных с литейным делом. Начинают формироваться новые словообразовательные цепочки, например: *лити* → *отлити* “изготовить литьем” → *отливати* “изготавливать литьем” [8. Вып. 13]; удлиняются ранее существовавшие – *лити* → *слити* “изготовить литьем” → *сливати* “соединять в плавке” → *сливатися* “соединяться в плавке” [Там же. Вып. 25].

Проникновение в сферу специальной лексики словообразовательных средств из разных подсистем языка способствует развитию словообразовательной синонимии. Например, за счет влияния разговорной речи активизируется словообразование имен действия с суффиксом *-к(а)* [12. С. 12]. Впервые в старорусский период зафиксированы лексемы, образующиеся в данной лексико-семантической зоне по ранее упомянутой модели «глагол + *-ниј-*, *-к-* → существительное “название технологического процесса”», например: *ляти* → *ляние*; *переливати* → *переливка*; *сливати* → *сливание* “плавка” [8. Вып. 8, 14, 25]. К этой группе примыкают лексемы *вылитие* и *вылив* “процесс” [Там же. Вып. 3], образованные от глаголов с помощью суффикса *-тиј-* и безаффиксным способом.

И, наконец, возможно, что рост количества текстов, относящихся к промыслово-ремесленному стилю, привел к тому, что ряд лексем, ранее функционировавших только в устной речи, оказался зафиксирован в памятниках письменности, а затем и в словарях.

Пополнение состава лексико-семантической зоны *литейное дело* происходит в результате активизации в языке XVIII века словообразовательной модели имен действия с суффиксом *-к(а)* [12. С. 100] и увеличения длины уже существующих словообразовательных цепочек за счет существительных, возникших по этой модели, например, *лить* → *залить* “покрыть расплавленным металлом” → *заливать* “покрывать расплавленным металлом” [13. Вып. 8; 14. Т.2] → *заливка* “действие по глаголу” [14. Т. 2].

В этот период с ранее появившимися терминами *литець* и *ливець* успешно конкурирует термин *литейщик*, образованный с помощью суффикса *-щик-*, который по своему происхождению связан с народно-разговорной языковой сферой [15. С. 28]. В памятниках письменности этот термин отмечается с начала XVIII века, а к XIX веку *литейщик* закрепляется в качестве литературной нормы [Там же. С. 32]. *Ливець* и *литець* переходят в состав пассивной лексики.

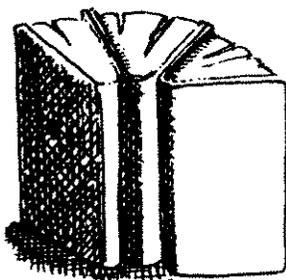
Незначительное уменьшение в настоящее время количества слов, входящих в данную лексико-семантическую зону, связано с утратой образований от глагола *лияти* “изготавливать из расплавленного металла” [8. Вып. 8]. Сам этот глагол уходит из языка еще в старорусский период, когда формируется видовая пара *лить* “изготавливать из расплавленного металла” – *слить* “изготовить из расплавленного металла”. Производные от него лексемы постепенно утрачиваются в XVIII–XIX веках в результате разрушения словообразовательной синонимии и формирования официальной терминологии литейного дела.

Таким образом, можно сделать вывод, что группа специальной лексики, связанная с литейным производством, занимает значительное место в историческом корневом гнезде глагола *лить*. Она окончательно формируется в рамках данного гнезда к XVIII – XIX веку и на современном этапе развития языка сохраняет стабильность.

Литература

1. *Закупра Ж.А.* Номинация лиц по профессиям, связанным с литейным производством, в памятниках письменности русской народности XIV–XVI вв. // Исследования по лексикологии и грамматике русского языка. Киев, 1975. С. 94–106.
2. *Трубачев О.Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.
3. Этимологический словарь славянских языков. М., 1974.
4. *Иванов В.Н.* Словарь-справочник по литейному производству. М., 2001.
5. Политехнический словарь. М., 1976.
6. *Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования и именные основы. М., 1974.
7. Словарь древнерусского языка. М., 1988.
8. Словарь русского языка XI – XVII вв. М., 1975–.
9. *Азарх Ю.С.* Словообразование и формобразование существительных в истории русского языка. М., 1984.
10. *Чайкина Ю.И.* Роспись трубного дела как один из памятников промыслово-ремесленного стиля русского литературного языка

- XV–XVII в. // История русского слова: Ономастика и специальная лексика Северной Руси. Вологда, 2004. Вып. 2.
11. *Чайкина Ю.И.* Промысловая [ремесленная] лексика в старорусском языке: ономаσιологический аспект // *Чайкина Ю.И.* История лексики Вологодской земли (Белозерье и Заволочье). Вологда, 2005.
12. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка. Изменения в словообразовании и формах существительных и прилагательных. М., 1964.
13. Словарь русского языка XVIII века. Л., СПб., 1984–.
14. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук. СПб., 1847.
15. *Прокопович Е.Н., Хохлачева В.Н., Шелехова Н.Т.* Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV–XVII вв. М., 1974.



СПЕКУЛЯЦИЯ

© Н.А. ЛЮЛЯЕВА

В наши дни слово *спекуляция* понимается неоднозначно и вызывает у носителей языка смешанные чувства. Большинство будет доказывать, что *спекуляция* – это обозначение противоправного явления, сопровождающего дефицит товаров, меньшинство скажет, что это название биржевой легитимной деятельности. И те, и другие будут правы и приведут примеры из жизни, вспомнив совсем недавние события.

Этимологи связывают появление слова *спекуляция* в русском языке с первой половиной XIX века и указывают на латинское происхождение и заимствование через французский или немецкий языки [1, 2]. По мнению П.Я. Черныха, коммерческое значение возникло в XVIII веке во французском языке как жаргонное в речи коммерсантов, биржевых дельцов и т.п. Он считал, что слово *спекуляция* в значении “финансовая операция, заключающаяся в покупке и перепродаже ценностей с колеблющимся курсом с целью получения барыша на курсовой разнице”; “незаконная скупка товаров и перепродажа их с целью наживы” известно с первой половины XIX века.

Вызывает сомнение возникновение значения “незаконная скупка товаров и перепродажа их с целью наживы” в тот же период, что и первого определения. В Словаре В.И. Даля толкование спекуляции как противоправного действия отсутствует: “денежное, торговое предприятие, оборот по расчету, оборот для выгоды, для барышей” [3].

В словаре, сопровождающем книгу Жозефа Гарнье “Основные понятия политической, общественной или промышленной экономики, с присовокуплением словаря экономического языка” *спекуляция* трактуется как: “скуп какого-нибудь продукта или предмета, с целью воспользоваться барышом при продаже. Всякое предприятие земледельческое, мануфактурное, торговое, художественное, ученое есть С.”;

“Хотите, чтобы к вам привозили товары, позволяйте их вывозить; хотите, чтоб рынки наполнялись съестными продуктами, не стесняйтесь в торговле обращения зерновых хлебов, позволяйте *спекулировать*” [4. С. 93]. Оскорбительным для коммерсантов являлся в тот период синоним *барышничество*: “выражение, которым иногда хотят заклеймить спекулятивную торговлю” [Там же]. В более поздних источниках указывается на то, что любая торговая сделка является спекуляцией, так как она основана на стремлении получить выгоду на разнице в цене. Так же выделяются положительные и отрицательные стороны спекуляции и ее роли в народном хозяйстве, что позволяет сделать вывод: лексема еще “ищет свою нишу” в русской язычной лексике, не является на момент издания термином, не имеет отрицательной коннотации.

“Популярный финансово-экономический словарь” уже в 1925 году говорит о сделках купли-продажи, совершаемых обычно с определенным товаром, и уточняет: “в большинстве случаев заменимым как хлеб, сахар и т.п.” [5]. Примером служат ситуации, когда товар задерживается на складах в ожидании резкого повышения цен и скупается хлеб “в ожидании недорода”. Словарная статья заканчивается так: “С народно-хозяйственной точки зрения С. как вид азарта может рассматриваться как явление отрицательное”. Таким образом, можно говорить о появлении у слова *спекуляция* уже к 1925 году негативной семантики. Косвенное свидетельство в пользу выдвинутого предположения можно найти в “Торгово-промышленном и финансовом словаре”: “У нас, в связи с оздоровлением народного хозяйства, введением твердой валюты и тщательным государственным контролем за частной торговой деятельностью, почва из-под ног С. ускользает” [6. Т. 3].

Анализ хронологии событий, происходивших с 1910 по 1925 год, позволяет более точно определить время появления отрицательного значения у слова *спекуляция*. Наиболее вероятным видится появление отрицательной коннотации в 1916–1917 годах, чему способствовала социально-экономическая ситуация в России. В энциклопедическом справочнике “Россия” описывается ситуация в стране: 1916 год – “После того, как 80% российских предприятий переключились на военное производство, в стране начался острый дефицит всех промышленных товаров. Резко подскочили цены... Ухудшилось снабжение продовольствием”; июль 1917 года – “Снабжение сельскохозяйственной продукцией полностью нарушилось. Крестьяне не хотели сдавать зерно по твердым ценам, а государство не могло доставить в города даже то немногое, что удавалось купить”; сентябрь 1917 года – “В стране началась всеобщая разруха... Цены на продовольствие росли стремительно” [7. С. 286, 293, 295–296].

В толковых словарях русского языка одно значение относят к капиталистической, а другое – к социалистической формациям. *Первое* понимается как легальное средство зарабатывания денег на разнице кур-

сов валют, ценных бумаг и т.д., *второе* – как запрещенная законом деятельность по скупке и перепродаже товаров по завышенным ценам и сопровождается пометой “неод.” [8, 9, 10]. Появляется переносное значение у слова *спекуляция*: “расчет, умысел, основанный на чем-либо, использование чего-либо в корыстных целях”. В “Большой советской энциклопедии” *спекуляция* обозначает уголовно наказуемое правонарушение, караемое лишением свободы сроком от двух лет и даже с конфискацией имущества [11]. В Словаре С.И. Ожегова слово *спекуляция* толкуется как незаконная сделка по купле-продаже товаров: “Скупка и перепродажа имущества, ценностей, продуктов, товаров широкого потребления и т.п. с целью наживы (обычно с использованием разницы цен, незаконного их повышения и т.п.)” [12].

В терминологические словари слово *спекуляция* возвратилось после 1994 года [13], хотя из УК РСФСР ответственность за спекуляцию исключена в декабре 1992 года. В экономических словарях *спекуляция* трактуется как сделки на бирже, совершаемые с целью извлечения прибыли из разницы в ценах [14, 15]. Здесь делается акцент на том, что спекуляция – это обычная форма биржевой игры; свойственна любой экономике, в которой решения принимаются в условиях неопределенности. В словарях последних лет отрицательная коннотация отсутствует или отмечен ее переход в пассив [16, 17, 18]. Однако неприязненное отношение к явлению спекуляции становится заметным в условиях глобального экономического кризиса, хотя все понимают и негативную сторону спекуляции и то, что работа биржи без нее невозможна, особенно в области производных финансовых инструментов.

Литература

1. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1999.
2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1865.
4. Гарнье Ж. Основные понятия политической, общественной или промышленной экономии, с присовокуплением словаря экономического языка. Перевел с 3-го исправленного и дополненного издания Павел Кисловский. СПб., 1868.
5. Популярный финансово-экономический словарь. М., 1925.
6. Торгово-промышленный и финансовый словарь. Л., 1924–1926.
7. Дейниченко П.Г. Россия. Энциклопедический справочник. М., 2003.
8. Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н.Ушакова и др. М., 1935–1940.

9. Словарь современного русского литературного языка. М., 1948–1965.
10. Толковый словарь русского языка. Под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1981–1984.
11. Большая советская энциклопедия. М., 1976. Т. 24.
12. *Ожегов С.И.* Словарь русского языка. М., 1986.
13. *Новиков А.М., Новикова Н.Е.* Универсальный энциклопедический словарь. М., 1994.
14. *Синельников С.М., Соломоник Т.Г., Биржаков М.Б., Янборисова Р.В.* Энциклопедия предпринимателя. СПб., 1994.
15. *Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А.* Словарь-справочник предпринимателя. М., 1997.
16. Большой толковый словарь. Под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 2006.
17. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. Под ред. Г.Н. Складневской. СПб., 1998.
18. Толковый словарь русского языка XXI века. Актуальная лексика. Под ред. Г.Н. Складневской. М., 2006.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА С ВКЛЮЧЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ

Отечественная лексикографическая традиция в области составления толковых словарей русского языка имеет более чем 200-летнюю историю. Но только XX век дал нам четкие ориентиры как в области отбора лексического материала, так и в целой системе подготовки *нормативных* словарей, которые отражают общие тенденции развития национального языкового фонда.

Выпущенный в свет в 2007 году под грифом Российской академии наук, Отделения историко-филологических наук и Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, новый “Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов” под редакцией Н.Ю. Шведовой представляет собой несколько иной жанр лексикографической “продукции” – это толково-этимологический словарь, который наряду со сведениями о семантике слов современного (в значительной мере) русского литературного языка, его фразеологии и идиоматике характеризует историко-культурную оболочку лексемы, дает ее краткую этимологию. Последнее тем более важно для современного читателя, подчас не владеющего элементарными навыками понимания текста как культурного феномена. Этот “разрыв” в значении и употреблении слова и его дальнейшую семантическую судьбу можно проследить только путем проникновения в его истинное значение. Мы можем отнести данный тезис и к объемному пласту новой, заимствованной из европейских (и прежде всего английского) языков лексики, которая также часто оказывается непонятной даже образованному человеку. Поэтому объединение в одном Словаре двух зон – объясняющей современное значение и историко-этимологической – нам кажется вполне логичным и весьма целесообразным.

В предисловии “К читателям” так объясняется концепция этого жанра: “...новый словарь, описывая общий лексический состав русского литературного языка последних трех столетий, одновременно восполняет существенный пробел в отечественной лексикографии: его этимологические зоны, будучи собранными вместе, практически представляют собою краткий этимологический словарь русского литературного языка. Сам корпус словаря и структура его словарных статей отражает наряду с основным, исторически сложившимся и устойчивым

ядром лексического состава русского языка целые пласты слов и значений, или вообще не отмеченных в других толковых словарях, или появившихся в языке в последнее время”.

Из новой лексики, которая получила отражение в настоящем издании, особое место принадлежит общественно-политической лексике, терминосфере и концептосфере культуры, науки и спорта, а также электронных средств связи. Можно с уверенностью констатировать, что указанные отрасли уверенно “прописались” в современном лексиконе (конечно, процесс адаптации идет постоянно, и со временем что-то будет отсеиваться), а их словарь стал понятен новому поколению, следовательно, такая лексика стала общеупотребительной и вошла в активный состав языка, т. е. нуждается в описании и представлении. Так, в прессе несколько лет назад постоянно употреблялись слова “защитка” и “крыша”, которые нашли отражение в настоящем Словаре: (1) “проверка территории, ее жителей вслед за окончанием военной операции”; (2) “неофициальная (обычно преступная) организация, тайно защищающая другую организацию или негласно контролирующая ее; вообще прикрытие, защита (прост.). *Уйти под крышу ракетиров. У фирмы есть своя к.*”. Вместе с тем, конечно же, далеко не все, что с легких слов наших политиков получило прописку в семантике бытового языка, вошло в Словарь. Так, в нем нет “популярного” теперь значения глагола “мочить” и т. п. Не случайно, в последнее десятилетие вышло немало работ, посвященных анализу новых тенденций в развитии русского языка в “эру технологий”.

В существующих нормативных словарях недостаточно четко определена позиция по отношению к употреблению разговорных, просторечных и жаргонных элементов в нашей речи, которые получили, как верно подмечено в Словаре, “ничем не ограничиваемое вторжение в литературный язык”. Отдельные образования, которые есть практически на любом электронном форуме в “рунете”, – плод “животной” фантазии необразованных людей, упрощающих язык до полуфраз, нелитературных аббревиатур и прочих “изобретений”, быстро усваиваемых молодежной средой и становящихся как бы “вторым” языком. Другие, например, слово “интернетчик”, нашли свое место в культурном пространстве современного языка и таким образом выражают их коммуникативные свойства. Подобные новообразования с большой осторожностью включены в Словарь: *интернетчик* (разг.) – “тот кто пользуется Интернетом”. В таких случаях указывается орфоэпическая норма, например: “интерфейс [тэ], -а, м. (спец.). Средства, обеспечивающие взаимодействие компьютерных программ, связь компьютера с другими устройствами или с пользователем”.

Все эти и многие другие тенденции современного словотворчества есть крайне важный вектор развития родного языка, но *толковый словарь* – это прежде всего *нормативный источник литературного язы-*

ка, значит, должен весьма взвешенно и грамотно относиться к новым ступеням “карнализации” языка и оставаться при этом верным традициям академической школы русской лексикографии.

При ознакомлении со Словарем видна большая составительская работа авторов, стремившихся идти в ногу со временем, сделать доступным широкой аудитории азы научной практики, ознакомить с культурой не только родного языка, но и других, даже древних языков, которые часто служили основой для формирования семантического каркаса слова.

Таким образом, был охвачен большой и активный фонд лексической системы языка (82 тысячи слов и фразеологических выражений и 15 тысяч исторических и этимологических справок), выстроенной в последовательной традиции словарных изданий и имеющей авторитетных в научном мире авторов: академика РАН Н.Ю. Шведову, которая более пятидесяти лет занимается лексикографической теорией и практикой, Л.В. Куркину – ведущего научного сотрудника Отдела этимологии ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН и Л.П. Крысина – заведующего Отделом современного русского языка того же института.

Перед авторами-составителями была непростая задача соединить и объективно описать семантику и этимологию слов, в числе которых исконно русская лексика, древние заимствования включительно по XVIII век (эта часть этимологических зон подготовлена Л.В. Куркиной), иноязычная лексика XVIII–XX вв., новейшие заимствования и слова-интернационализмы (написана Л.П. Крысиным).

Поскольку очевидной новизной Словаря является представление в нем этимологических зон, остановимся на обзоре этой части более подробно. В них в сжатом виде дана, во-первых, “информация обо всех аспектах словообразовательного, семантического, этимологического изучения слова” (С. 1141), во-вторых, “сведения о соответствиях в славянских языках” (Там же), при этом в ряде случаев восстанавливается и праславянская форма, и индоевропейская, показаны звенья семантической эволюции слова. Кроме того, указаны также префиксальные образования и сведения об однокоренных словах. В случае, когда данные о слове позволяют по достоверным источникам определить его “дату рождения”, такие сведения также включены в Словарь. Здесь приведены и основные лексикографические материалы, использованные при составлении историко-этимологических справок.

Известно, что этимология слова как нельзя лучше позволяет осознать носителя языка частью одного мультязыкового пространства, у которого была и есть история слова, по выражению Буслаева, “как история духа народа”. Даже у такого слова, как “мура” (прост.), означающего “чепуха, ерунда”, есть своя история: «Рус. диал. *мурá* “кушанье из воды, хлеба, муки; тюря”, с.-хорв. диал. *му́ра* “грязь, раскисшая земля”, чеш. диал. *mour* “сажа (древесная, угольная)”; родств. лит. *máuras*

“грязь, тина”, с другой ступенью чередования *múras* “размокшая земля, грязь”, *múrti*, *múrstu*, “мокнуть, становится вязким”; первонач. “грязь” > экспрессивное знач. “кушанье из воды, хлеба, тюря” > “дребедень”».

А у глагола *мурьжить* есть близкий “родственник” – *мурьга*: “Рус. диал. *мурьжить* “надоедать; нудно ругать; обманывать; обдумывать; искать”, экспрессивное образование от диал. *мурьга* “хмурый, надутый человек”, далее, вероятно, к *мура*”.

Как видим, так называемая этимологическая зона включает не только объяснение собственно происхождения слова, его “лингвистический генезис”, сравнение с другими языками, но также и историко-культурную традицию того феномена, который путем различных преобразований получил современное значение. Здесь, например, выявлены семантические связи однокорневых компонентов внутри одного языка на протяжении нескольких столетий, словообразовательные и фонетические изменения, их бытование в диалектах русского языка. Такое расширительное понимание этимологических зон позволяет дать емкое, достоверное объяснение значению любого слова литературной речи. И, как мы заметили, перед нами едва ли не единственный источник, который в таком объеме сообщает читателям информацию о происхождении того или иного элемента лексической системы, даже самого необычного. Вот, например, как толкуется слово “фодыбака” (прост.) – “упрямый и капризный человек”: «Результат фонетич. преобразования диалектного *гордыбака* < *гордыбачить* хвастаться» < *гордый* + *бачить* “говорить”».

Этимологическая зона у второго значения слова “хлыст” – “последователь хлыстовства”, свидетельствует о том, что “в староверческой секте принято хлестать себя розгами”.

Просторечное, бранное “хрыч” – “старый человек, старик” получило следующее объяснение: «Вероятно, с экспрессивным изменением *z* > *x* из др.-рус. *грить* “собака”, ср. чеш. диал. *грус*, *грис* ругательство “чучело, пугало”».

Мы не случайно обратили внимание на такие примеры: именно специфически народные, часто стилистически сниженные слова и выражения, имеющие богатую, в том числе и литературную традицию употребления в художественных произведениях, представляют наибольшую трудность и тем интересны читателю. Термины, современные наименования, конкретные понятия различных отраслей знания и т. п. лексические элементы, как правило, имеют ясную этимологическую историю, не всегда простую, но объясняемую с позиции компаративиста.

Мы не станем оспаривать сложные случаи этимологий, которые, естественно, возникают при обследовании такого объемного пласта слов – это удел специалистов в данной области. Однако отметим, что такие примеры, помещенные в Словаре с пометами “возм.”, “вероят-

но”, дают хоть какой-то ориентир в поиске этимологического ядра слова. Общеизвестно, что многие явления не находят пока отражения в имеющихся этимологических словарях. В этом смысле работа авторов-составителей в данной части – это своего рода мини-исследование и даже эксперимент. В качестве подобного спорного примера можно привести, например, лексему “выхухоль” (С. 139).

Словарь дополняют Приложения: “Сведения о том, как пользоваться этимологическими справками словаря” и “Склонение имен и спряженные глаголов. (Краткие сведения. Таблицы)”. Последнее важно прежде всего для того, чтобы напомнить читателям *общие* правила в соответствии с академической традицией, изложенной в “Русской грамматике” (М., 1980). Здесь указываются и вариативные формы родительного и предложного падежей единственного числа существительных мужского рода, описываются отступления и индивидуальные образования в парадигмах третьего склонения, дается характеристика падежных форм сложных существительных с первым компонентом *пол-*, отдельно рассматриваются особенности склонения во множественном числе. Такие же краткие, четкие и внятные разъяснения содержат подразделы этой части, касающиеся имен прилагательных, числительных, местоимений и глаголов. Во всех случаях приводятся таблицы, включающие схемы изменения падежных форм. Такое дополнение, сопровождающее *толковый* словарь, позволит читателям использовать полученные краткие теоретические сведения при работе со Словарем, в учебной и житейской практике.

В целом настоящее издание, подготовленное коллективом академических ученых, удачно вписывается в серию лексикографических проектов, создаваемых в Отделе лексикологии и грамматики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (“Русский семантический словарь”, тт. 1–4. М., 1998–2007; “Русский идеографический словарь. (Мир человека и человек в окружающем его мире)”) и позволяет на основе “единой научной концепции... с разных сторон познать состав и внутреннее устройство современной русской лексики как сложной и постоянно развивающейся системы” (С. VI).

© О.В. Никитин,

доктор филологических наук